

АЛЕКСАНДР ГРОМОВ



ЛЮБОВЬ

ПОВЕСТЬ

1

По-настоящему Люба влюбилась в девятом классе. Она ожидала светлого и томного, как воскресный июльский день, но, поняв, что любит, испытала смятение и страх. И этот поднимающийся изнутри леденящий страх был притягателен и даже приятен. Влюбилась Люба в приехавшего из города молодого учителя истории.

Учитель появился в селе в конце прошлого лета, словно инопланетное существо. Он не был красавчиком, как порой называли городских: среднего росточка, худоват, слегка сутулился, и лицо его, на сельский взгляд, казалось бледным и вытянутым, словно корешок петрушки, но глаза голубые и понимающие. Откуда у молодого человека такие понимающие глаза? Это обескураживало и невольно вызывало уважение.

Судачили, что после института, когда только и разговоров было о грянувшей перестройке, о том, что молодые должны решать судьбу страны, да и много ещё чего говорилось, так много, что становилось непонятно о чём, трое друзей попросили распределить их по сёлам, так сказать, пойти в народ сеять умное, доброе, вечное. Сей идеализм вызвал в деканате некоторое удивление, ибо на всех троих были иные виды, но тут с этой перестройкой такая круговерть началась, что долго никто уговаривать не стал: идите, куда хотите, ну, парни и пошли. Эта неизвестно откуда взявшаяся легенда ещё более обратила мнение сельчан в пользу молодого учителя. Правда, старик

ГРОМОВ Александр Витальевич родился в 1967 году в г. Подольске Московской области. Служил в Афганистане, награжден медалью "За боевые заслуги". Окончил Литературный институт. Автор нескольких книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Самаре.

Данилыч, закоренелый рыбак, сам похожий на пересушенную изжелтевшую сорогу, но живший не за счёт рыбы, а за счёт домика у реки, который время от времени сдавал наезжавшим шумным городским компаниям, махнув рукой, предрёк: “Всё равно сбежит”. Но в это не верилось. Звали молодого учителя Артём Андреевич.

До его появления Люба как бы не замечала себя. С рождения она ощущала окружающий мир естественным и неизменным, словно это была частичка её или, наоборот, она была частичкой этого мира (соотнесение части и целого зависело от настроения). Мир вырослел вместе с Любой, но по сути всё равно оставался неизменным. И потому романтические книги, которые любила читать Люба, всегда воспринимались как выдумка, у неё даже мысли не закрадывалось хотя бы пометать о принцах и принцессах. Она просто знала, что любовь — это светлый воскресный день, а тут вдруг оказалось страшно.

Росточку Люба была повыше среднего, с плотно сбитой, упругой фигурой, казалось, тело еле сдерживает распирающую изнутри натуру — вся в мать, бывшую некогда первой красавицей на селе. Волосы Люба не стригла, как многие сделали в школе ещё в средних классах, и теперь на спине лежала тугая, почти по пояс коса. И цвет волос получился причудливый — и не русый, и не пшеничный, а когда весна уже войдёт в силу, бывает у речки такой песок, белёсый и тёплый. Кофточка на груди у неё уже заметно оттопыривалась, да и всё остальное развивалось согласно природе и даже, наверное, опережая. И когда Люба проходила улицей, сидящие на скамеечках старики долго смотрели ей вслед. Потом один говорил: “А помнишь, Ванятка, как мы с тобой из-за Дуньки-то дрались?” У Ванятки чуть вздрагивали усы, он опускал голову и начинал медленно скручивать сигарку.

С младших классов отчуждённость мучила Любу. Особенно обидно было, когда не приняли в пионеры. Она плакала, уткнувшись маме в колени, а та молча гладила её по голове и смотрела в окно. В конце концов, Люба включила школу в окружающий мир, который был, есть и будет, и потому его надо просто принять как данность и не пытаться изменить самому, а одноклассникам надоело измываться над человеком, который внешне никак на это не реагирует, для самоутверждения были найдены другие объекты, Любу просто перестали замечать, но прозвище Староверка за ней осталось.

2

Разумеется, никакой староверкой Люба не была. Да и вообще верующей себя не считала. Мама — другое дело. Отец Николай называл маму камнем, на котором соиздается Церковь. Люба понимала, что батюшка шутит, но и представить храм без мамы не могла. Катерина Васильевна была и старостой, и псаломщицей, и просвирней, и уборщицей, и всем, кем надо... А Люба ей помогала. Мама никогда не заставляла, не просила даже, но помогать маме в храме стало таким же привычным делом, как ухаживать за бабушкой, ходить в школу, магазин, читать книги, дышать, наконец. А Староверка... Так это, может, потому, что в сравнении со строящимся коммунизмом православная вера и впрямь для многих считалась старой.

Когда её не приняли в пионеры, то обиделась она не на тех, кто её не принимал, а на себя, что она не сумела правильно всё объяснить. От Любы потребовали признаться: верит ли она в Бога? Она удивилась вопросу, задумалась и честно ответила: “Нет”, — и ей показалось, что расстроила спрашивавших, будто они не такого ответа от неё ждали, тогда она постаралась объяснить: “Вот мама у меня верит, отец Николай, матушка Ксения... — и вздохнула: — А я так не умею...” Тогда её спросили: “Зачем же ты ходишь в церковь?” — “Маме помогаю”, — бесхитростно призналась Люба. “И как же ты помогаешь?” — продолжали допытываться у неё. “Подсвечники чищу, полы мою, мало ли чего...” — “И хорошо тебе в церкви?” — задали новый вопрос, и Люба так же просто призналась: “Бывает очень хорошо, — тут вспомнила вечернюю и добавила: — Батюшка Николай, когда в духе, выйдет да так возгласит: “Восстаните”, — что аж мурашки по коже”.

И тут же изобразила это “восстаните”. Сидевшие за столом улыбнулись, и это Любу приободрило. “А на Пасху-то как хорошо, как радостно! — продолжила она. — Батюшка разрешает в колокол позвонить. А там высоко, всё село видно, и далеко видно. Так красиво!” Тогдашняя учительница русского языка и литературы, она ещё не ушла на пенсию, сказала: “Да примите вы её”. — “Анастасия Павловна! — возразили ей. — Да как же можно: она будет в галстук в церковь ходить, представляете!” — “Не будет, — пообещала Анастасия Павловна. — Она его перед церковью снимать будет”. — “Она нам всю организацию разложит”. — “Одна? Всю организацию? Что-то какая-то ненадёжная организация у вас...” — “Не “у вас”, а “у нас”, — поправили старую учительницу и потребовали от Любы честного слова, что она никогда больше не пойдёт в церковь. “Как же так... — растерялась Люба. — А Пасха...” — “А так, — объяснили ей, — пионер и церковь — вещи несовместимые”. — “А мама...” — жалобно попросила Люба. “Мы не маму в пионеры принимаем, а тебя”, — строго сказали ей, и Люба на несколько секунд замерла, ошарашенная таким разделением мира, потом почувствовала, что вот-вот разревётся, развернулась и бросилась бежать.

— Не ходи, — глухим ровным голосом сказала мама, когда Люба, захлёбываясь слезами, уткнулась в её колени.

Когда она сообщила в пионерской, что в церковь больше не пойдёт, то снова не почувствовала радости окружающих. Её и саму-то не покидало чувство, что она делает что-то нехорошее, неправильное, она не думала о предательстве, отречении, просто тревожил знобящий холодок, который немножко потрясывал и подталкивал торопиться. И словно кто-то подсмеивался над ней, потому что Люба всё больше понимала: отчуждение осталось. Более того, она почувствовала, что её теперь презирают. Будто она обманула, нет, не Бога, а их. Теперь она сама стала такой же, как и они: нет ничего иного, чудесного, и все эти “восстаните” — выдумки и детское воображение.

Старшая пионервожатая сняла с себя галстук и повязала его Любе. Испытательного срока дали месяц. Люба же неодобрительные взгляды восприняла по-своему: ей не доверяют, и, чтобы доказать, что на неё можно рассчитывать, как на настоящего пионера, окунулась в общественную работу, стараясь помочь во всяком деле, даже там, где совершенно ничего не понимала. Так она осталась делать стенгазету, а получилось, что промаялась без толку два часа возле одноклассников. Впрочем, она послушно меняла грязную воду в стаканах и мыла кисточки.

Этого рвения не заметить было нельзя. Кто говорил, что “выслуживается”, кто — “грехи замаливает”, кто — ещё что, но всех это страшно раздражало. Хотя в глаза хвалили. И Любе это нравилось, она будто и не замечала презрительных взглядов. Галстук она примеряла перед зеркалом и так, и эдак, он не воспринимался “частицей красного знамени”, а скорее отличительным знаком, который, наконец, допустил Любу быть со всеми вместе, осталось только немного постараться, и она станет равной.

Но тут подоспела Троица, и Люба затосковала. Живо представилась усталая свежей травой церковь, все иконы украшаются цветами, а воздух! Какой ароматный дух стоит на Троицу в церкви! А как же без неё батюшка Николай поедет выбирать берёзки? И кто же будет помогать ему расставлять деревца в церкви?

“Слава Богу, каникулы начались, — подумала Люба, — никто меня не заметит”. Всю Троицу — и когда ездили за берёзками, и когда украшали храм, и во время самой службы, да и после на праздничной трапезе, когда во дворе расставили столы, нанесли угощений и выставили огромный самовар, — не отпускала тревога, что вот её поймают, обман раскроется, и ещё хуже: начнут обличать, и непонятно, что было ужаснее: когда скажут при всех бабушках, что она, вступая в пионеры, сказала, что больше не будет ходить в храм, или когда на пионерском собрании объявят, что она нарушила слово.

Как же! Не заметили! Столкнулась через пару дней в магазине с пионервожатой Мариной, той самой, что повязала свой галстук, а та:

— Что ж ты, Люба, обманула нас! — и весело так говорит, вроде даже как смеётся. Люба ничего не ответила, опустила глаза, купила хлеба и ушла. “Выгонят”, — решила она и отложила красное украшение в шкаф. И сразу как гора свалилась. Так легко и хорошо стало.

Все терзания разом отпустили, и всё то праздничное, что никак не могло войти, словно гость, стояло рядом, а злая собака не пускала, теперь наполнило Любино существо радостью и покоем. И можно было снова помогать маме.

В каникулы никто Любу из школы не беспокоил, а там в стране такая заваруха началась, что про Любу и не вспомнил никто. К тому же оказалось, что и в церковь ходить не возбраняется, а для плюрализма это даже и самое то.

3

Ещё с ними жила бабушка. Скорее, впрочем, не жила, а мучилась, мама так и называла её — мученица. Жила бабушка в специально сделанном пристрое к дому, где стоял топчан, с которого она не вставала, столик и стул. Раньше бабушка лежала в доме, но смрад становился всё сильнее, и как ни трудно удивить сельских жителей запахами, но это живое гниение заставляло не столько воротить нос, сколько испытывать необъяснимый ужас, словно иной, страшный мир своими запахами напоминал живым о своём существовании. К постоянно находящейся рядом смерти можно привыкнуть, но вот тем, кто заходил в гости, становилось плохо.

Всеякие намёки сочувствующих односельчанок об отселении мамы Катерина пресекала, но тут батюшка благословил — пристрой! И вот уже пять лет парализованная бабушка лежала там.

4

Итак, был летний знойный сельский день. Люба возвращалась из школы, где наводили порядок перед началом учебного года, когда услышала:

— Девушка, подождите!

Слово “девушка” Люба никак не могла отнести на свой счёт, да и на “вы” к ней никто никогда не обращался, но почему-то оглянулась — её догонял незнакомый молодой человек, сухощавый, но эlegantный, в светлом костюме и белой шляпе, которая больше всего и удивила Любу, до этого она такие видела только в кино.

— Здравствуйте, — сказал молодой человек, подойдя ближе.

— Здравствуйте, — ответила Люба, разглядывая сидящую на заборе ворону.

— А скажите, милая девушка... — тут незнакомец невольно обернулся, посмотрел в сторону вороны, но ничего интересного не заметил.

Обращение “милая девушка” вызвало необъяснимую бурю чувств в неопытной девичьей душе, и Люба так впилась взглядом в бедную ворону, что та не выдержала и улетела.

— Гм, — издал звук молодой человек, видимо, желая привлечь внимание. — Я тут, кажется, малость заплутал, не подскажете, как пройти к церкви?

— Церковь! — ожила Люба. — Так это вон за теми домами, — и сама не ожидая от себя такой дерзости, предложила: — Давайте я вас провожу, — но тут же поправилась: — Я всё равно в ту сторону домой иду.

— Буду очень признателен. — Молодой человек тронул шляпу, изобразил полупоклон и чуть отступил, давая понять, что готов следовать за Любой.

— Ой! — сделав несколько шагов, вспомнила Люба. — А церковь-то закрыта.

— Как закрыта? — удивился молодой человек.

— Службы нет, так чего её открытой держать, вот и запираем от греха. А если вам отец Николай нужен, так его дом рядом. Только его сейчас нет: он с утра в Васильевку отпевать уехал.

Молодой человек немного смутился и задумался.

— Я просто зайти хотел... знакомлюсь... Приехал вот только, сказали, что церковь есть, дай, думаю, схожу...

— У нас только на службы ходят, а сейчас все на работе — кто в поле, кто где.

Молодой человек смутился ещё больше.

— Да вы не переживайте, — пожалела незнакомца Люба. — Если надо, то я за ключом сбегаю. Мы рядом живём, вы только стойте здесь, никуда не уходите, — наказала она и метнулась к дому.

Не успел молодой человек осмыслить происходящее, как Люба, чуть запыхавшаяся и радостная, уже стояла перед ним, показывая большой ключ.

— Вот, пойдёмте.

— Вы прям как Буратино с золотым ключом, — невольно улыбнулся незнакомец.

— Никакая я не Буратино, — обиделась Люба и опустила руку.

— Нет, простите, это я так, просто вы сейчас такая... такая светлая, словно мы идём открывать потайную дверцу от счастья.

— Ничего я не светлая, — ещё тише ответила Люба и строгим голосом спросила: — Так вы идёте?

— Да-да, — спохватился молодой человек. — Простите ещё раз, я не хотел вас обидеть. А как вас зовут?

— Люба, — совсем прошептала Люба и пошла по дороге, глядя куда-то далеко-далеко, за лес, за речку, за небо.

— Я так и подумал! — воскликнул молодой человек и поспешил за девушкой. — А скажите, — спросил он, когда они прошли некоторое время молча, — во имя кого ваша церковь?

— Во имя Успения Божией Матери.

— Большая церковь?

— Большую перед войной снесли, а эта в низинке так и стоит. Она раньше кладбищенской считалась. Тут отневали и на кладбище несли, оно недалеко. А теперь одна на всю округу.

— А вы что же, служите там?

Люба хотела сказать "да", но задержалась с ответом.

— Мама — староста, а я помогаю... — и добавила: — Иногда...

Молодой человек хотел спросить ещё, но тут показалась церковь, и в самом деле небольшая, но крепенькая, как гриб-боровичок, укрывшийся от тихих охотников с ножами.

Люба отомкнула большой висячий замок, и молодой человек, широко перекрестившись, ступил внутрь.

Маленькая на вид, внутри церковь показалась просторной. Солнечные лучи почти не проникали в неё, и после яркой и знойной улицы сразу окутала прохлада и таинственный полумрак, молодой человек даже передёрнул плечами, словно его коснулось нечто необычное. Невероятной дерзостью показалось вступать в этот мир и покой, но молодой человек прошёл к аналою и, снова широко перекрестившись, приложился к праздничной иконе, потом стал медленно идти вдоль стен, вглядываясь в лики. А Люба осталась у выхода и прикрыла глаза: так хорошо было чувствовать это необычное, будто оно обволакивает и утешает. А отчего утешает? Так всё чудесно вокруг! Отчего же утешает? Отчего же вдруг хочется плакать?..

Вдруг открылась дверь. Люба вздрогнула. Молодой человек обернулся. На пороге, опираясь на посох, стоял ссутулившийся старик в рясе. Волосы его были не прибраны и космами шевелились вокруг головы. Лицо в ударившем светом дверном проёме казалось тёмным пятном, видны были только сверкавшие гневом глаза.

— Это что?! Кто позволил? — голос его оказался крепок и грозно раскатился по церкви.

— Батюшка! — кинулась к нему Люба. — Тут человек из города приехал, церковь хотел посмотреть, а вы же в Васильевку поехали, я и пустила.

— Кто тебя благословлял? А? Кто — спрашиваю? Мать знает?

— Нет... Она на ферме... Простите, батюшка... Я думала, вот человек... в церковь хочет... это ж хорошо... человек хороший...

— С чего взяла, что хороший? Может, он экстрасенс или баптист какой?

— Я не подумала, — пролепетала Люба. — Простите...

Подошёл молодой человек.

— Это я виноват. Только приехал, разместился и вот начал знакомиться с селом. Мне сказали, что есть церковь... И я посчитал, что нужно сначала сюда, не знал, что у вас её закрывают. И я упросил девушку. Никакой я не экстрасенс, я православный человек, я учитель.

— “Я”, “я”... — проворчал священник. — Как звать?

— Артём. То есть, Артемий.

— Православный-то человек сначала благословение спрашивает, а ты всё: “я”, “я”...

Молодой человек, стусевавшись, сложил ладошки лодочкой и склонил голову.

— То-то... — произнёс отец Николай и ткнул перстами молодого человека сначала в лоб, потом в чрево, потом в плечи, затем сел на лавочку у двери. — Чему учить-то собрался?

— Истории.

— Н-да... — протянул отец Николай. — Чему только не учат, а Любу кто учить будет? Нет у вас такого предмета? А? Нету... Ну, садись, расскажешь мне про свою историю, а ты, — священник посмотрел на Любу и качнул рукой в сторону двери, — иди по своим делам.

Люба выскользнула за дверь, не зная, чего бояться больше: предстоящей взбучки от матери или знакомства с новым учителем.

— Арте-емий, — вдруг произнесла она, словно пропела имя, и отчего-то снова стало весело.

5

Первого урока молодого учителя ждали с нетерпением, в котором любопытство смешивалось с желанием показать себя. “Ща мы этого городского приколема”, — шерился Витька Сапрыкин, самый хулиганистый в классе. Ему подхихикивал верный соучастник всех Витькиных проделок Мишка Кротов, при этом сам Мишка всегда умудрялся выкручиваться, а Витьку же наказания, казалось, не только не пугали, а даже укрепляли в верности избранного пути. Учителя не чаяли, когда Витька отбудет в школе последний год и переместится в училище или колонию. В общем, год у Витьки ещё был, и для начала он с Мишкой на задней парте начал резаться в карты.

Учитель вошёл в класс, не спеша, ни тени волнения, а уверенность, что ничто и никак не может поколебать его. Класс встал. Учитель посмотрел перед собой, он и правда был красив, как ковбой из иностранного кино. И такое же пренебрежение к обстоятельствам. Обстоятельства, кстати, не встали со всеми вместе и продолжали хлопать картами о стул, причём хлопанье, судя по всему, было для них важнее, чем сама игра.

Учитель улыбнулся. И улыбка у него вышла неопределённая, словно он улыбнулся самому себе, и в то же время красиво-киношная. А вот глаза... глаза увидели всё — словно на вычерченном скуными линиями лице они казались большими и глубокими.

— Здравствуйте. Садитесь. На линейке меня уже представили, но давайте познакомимся ближе. Меня зовут Артём Андреевич.

Учитель положил на стол классный журнал и отошёл от стола, словно и стол, и всё, лежащее на нём, мешало ему.

— Я буду рассказывать вам про историю нашей страны и мира то, что знаю сам, и так, как в неё верю. Я постараюсь давать материал, которого нет в учебниках, учебники будете читать сами. А потом будем сравнивать, обсуждать, задавать вопросы, искать ответы. История — удивительная наука: в ней мы узнаём себя. Кажется, что каждый день всё вокруг новое, всё меняется, особенно сейчас, когда технический прогресс всё больше вторгается

в нашу жизнь. Но если внимательно вглядываться в историю, то обнаружим, что человек остался тем же, и его волнуют те же вопросы и проблемы, что волновали древних египтян, строивших величественные пирамиды, греков, пытавшихся объяснить мироустройство, французов, определивших идеал человечества как свобода, равенство и братство, русских, соединивших под своим началом огромные пространства. И если поймём, как и почему это происходило, мы многое сможем понять о нас, сегодняшних... — Тут раздался особо сильный шлепок, и учитель остановился. — Да, забыл сказать: кому неинтересно, то лучше поступить честно и уйти, чтобы не мешать другим. Займитесь лучше тем, что считаете для себя более важным.

— Что — идти можно? — громко спросил Витька.

— Интересно, а что для вас является более важным?

— Для начала покурим, а там решим.

— Не думаю, что это полезно, а тем более так уж важно, но если вы без этого не можете обойтись и так рабски подчинены своим дурным желаниям, то что ж — вы люди взрослые, сами способны определить, кому служить, по крайней мере, вы не будете нам мешать, а это уже неплохо.

Витька поднялся, закинул сумку через плечо и, демонстративно держа руки в карманах, прошёл через класс, за ним, похихикивая и глядя в пол, последовал Мишка. Витька, не дойдя до двери, обернулся.

— Мы никому не служим, мы делаем что хотим.

— Это-то и есть рабство, — ответил учитель.

Витька задержался на секунду, затем решительно открыл дверь и вышел, за ним выкатился Мишка. Артемий Андреевич закрыл за дезертирами дверь, вернулся на прежнее место, оглядел класс и снова улыбнулся красивой улыбкой, но глаза показались ещё больше и глубже, будто они стали прозрачнее.

— У нас изумительная история. И мне хочется, чтобы вы всем сердцем полюбили и сам предмет истории, и нашу Родину. Иногда на неё надо уметь взглянуть чуть со стороны, как бы слегка отстранившись. Так бывает, когда смотришь в зеркало и узнаёшь себя, и в то же время замечаешь порой неуловимое, что в повседневной жизни остаётся незаметным. Вот вы, наверное, не замечаете вашего леса, который начинается за рекой, не замечаете самой реки, не замечаете чудесного воздуха, потому что привыкли. Каждый день видите всё это, дышите — чему же тут удивляться? Но это чудо! Чудо, что это есть именно у вас. Нигде нет такого леса, реки, и воздуха такого тоже нигде нет. И вы такие, потому что и лес, и река, и воздух являются частью вас. А разве не интересно, откуда течёт река? Как на этом изгибе появились люди? Кто они, откуда? Кто построил первый дом? Как строилось село? Ведь это же интересно! Это про нас! Так и про Россию. Говорим, что мы русские, а откуда эти русские взялись? Нам-то кажется, что всегда они были, что мы родились и вот они мы, но это не так: вся многовековая история в нас. Мы такие, потому что вдоль речек селились чужь и меря, мы такие, потому что с запада на восток двинулись арии и стали селиться в лесах, мы такие, потому что в степях хозяйничали скифы, мы такие, потому что Ольга, слышите, какое здесь нормандское имя Хельга, приняла христианство, а её внук с уже совершенно славянским именем Владимир, что значит “владеть миром”, крестил нашу землю, и Православие, овладев ею, претворило нас в русских... Вон сколько в нас всего... И то, что было потом: монголы, хлынувшие с востока несметными полчищами, поляки, хозяйничавшие в Кремле, разбойные казаки, грабившие на Волге и покорившие Сибирь, французы, очаровавшие высший свет и заставившие говорить на своём языке, немцы, с которыми нам дважды пришлось смертельно сражаться в мировых войнах, — всё в нас. А сколько ещё всего! Видите, сколько всего, какая богатая история! Но чтобы пользоваться этим богатством, надо о нём знать. Вот об этом мне и хочется рассказать вам...

До этого историю вела Лидия Петровна, она же была учительницей физкультуры и временно замещала пока не имеющегося историка. Подготовкой к предмету она себя не утруждала, спрашивала в основном даты и города, сверяя их во время ответов с учебником. Зато дисциплина на уроках была идеальной. Лидия Петровна запросто могла заехать указкой или учебником,

или тем, что попадалось под руку, проказнику по голове, а если тот успевал вернуться, одобрительно хмыкала:

— Вишь, ловкий какой!

Артём Андреевич разительно отличался. Когда он говорил, то часто увлекался, будто сам только что был участником или свидетелем произошедших событий, что невольно заставляло сопереживать учеников, они тоже включались в событие и становились его участниками. А то вдруг он начинал рассказывать о совсем, казалось бы, не относящемся к делу предмете, но вдруг так всё складывалось и завязывалось, что через это отвлечённое становилась понятнее самая суть. И потом он говорил вещи, которых не было в учебнике, он словно прокалывал иголкой серый лист, и сквозь него пробивался луч света, и окружающий текст воспринимался несколько иначе.

Витька с Мишкой уже сидели на втором уроке и не бузили. А после Витька, с некоторой, правда, ленцой, согласился, что, мол, дядька ничего, пойдёт, и тут же добавил, что всё это без надобности: один хрен в армию загребут.

К доске Артём Андреевич вызывал редко, а больше любил спрашивать с места и даже просил при этом не вставать, сам же делал пометки в тоненькой тетрадочке, и в конце урока можно было получить пятёрку, ну, или на худой конец четвёрку.

Любе вдруг очень понравилась история. До этого она не придавала особого значения учёбе. Она добросовестно делала домашние задания, часто механически, особо не вдумываясь и не расстраиваясь, если потом обнаруживались ошибки, читала и пыталась запомнить написанное в учебнике, но прочитанное не задерживалось в голове. Она, например, могла выучить стих, прочитать его, даже получить пятёрку, а на следующий день совсем не вспомнить о нём, а вот молитвы ложились в память крепко, будто в заранее приготовленное место, и Люба подпевала на клиросе, уже не заглядывая в тетрадки, причём никаких специальных усилий выучить слова молитв Люба не делала, она просто их пела на каждой службе, и они неприметно сами вошли в неё и отзывались, стоило только обратиться. А тут вдруг история. Может, этому способствовало то, что у Артемия (Люба только так называла про себя учителя) Андреевича история походила на захватывающий роман, а Люба любила читать и теперь брала в библиотеке только исторические книги. И был ещё один момент, очень воодушевлявший Любу: Артемий Андреевич на уроках почти всегда рассказывал о святых. Не совсем так, как рассказывал в проповедях отец Николай или было написано в житиях: у него святые являлись частью общей жизни, без их участия не происходило ни одно историческое событие, они оказывались вплетены в общую ткань истории и становились неотъемлемой её частью, в житиях же чаще всего святые представлялись отличными от обычных людей, потому что начинали чувствовать другой мир и старались уже жить в нём, не касаясь земли, в обычные же дела вступались по жалости к окружающим. У Артёма Андреевича святые становились чуть ли не центром, вокруг которого развивались события. Например, когда проходили начало века, то учитель начал с прославления Серафима Саровского, а так как никто об этом святом ничего не слышал, то проговорили о нём весь урок, а когда прозвенел звонок, Артём Андреевич со своей красивой и чуть пренебрежительной улыбкой произнёс: “А про смуту прочитаете в учебнике. И сравните, к чему звал Серафим Саровский, и к чему — революционеры. Вот с этого следующий урок и начнём”.

А вот когда Артём Андреевич первый раз вызвал Любу к доске, она растерялась. Урок Люба знала, знала даже больше того, что рассказывал Артём Андреевич и было написано в учебнике, но всё никак не могла начать, ей хотелось рассказать всё сразу, удивить и порадовать учителя, но слова словно столпились в горле, и в этой толкучке Люба никак не могла ухватить первое слово, которое потянуло бы за собой остальные.

— Ну, что же ты? — Артём Андреевич поднял от тетрадочки голову и ободряюще посмотрел на неё.

От этого взгляда Люба смутилась ещё больше, но тут ей показалось, что нужное слово нашлось, она кашлянула, будто выталкивая его вперёд, как вдруг раздался голос Витьки Сапрыкина:

— А ей некогда учить: она по церквям ходит, Староверка несчастная, Боженьке молится.

Люба почувствовала, что подкатывает то же, что случилось, когда её не принесли в пионеры.

— Да! — выпалила она и выбежала из класса, и уже на улице, забежав за старые липы, разревелась, сама не зная, отчего. Ей казалось, что её только что опозорили, хотя в чём был этот позор — объяснить не могла. Неужели в том, что она ходит в церковь? Или в том, что она не такая, как все...

— Не умён ты, Сапрыкин, — сказал Артём Андреевич и таким грустным голосом, что все посмотрели на Витьку, который сидел согнувшись и прикрывая голову руками, словно ждал удара, только красные уши торчали из-за рыжих вихров. — Вроде нормальный парень... — продолжил Артём Андреевич, и все за ним следом тоже удивились, как такое могло случиться с нормальным парнем, некоторые, правда, ещё удивились, что Сапрыкин, оказывается, нормальный парень. — Вот скажи мне, Сапрыкин, что будет, если никто в храмы ходить не будет?

Витька ещё больше пригнул голову.

— Коммунизм! — сказал Мишка.

— Эт-то точно, — согласился учитель. — Полный коммунизм. Чего сидишь, Сапрыкин? Иди, проси прощения.

Витька сорвался с места и так же стремительно, как Люба, вылетел из класса.

— Так, ну а ты, Кротов, точно не пропадёшь. Иди к доске, раз уж начал.

6

Как-то вечером, вернувшись из церкви, мама сказала:

— Сегодня ваш учитель заходил. Станный всё же: на службы не ходит, а так заходит, свечи поставит, храм обойдёт и уходит. Жалко его...

На дворе моросил осенний дождик, ветер покачивал уличный фонарь, и тень от старого карагача казалась живой. А дома было тепло и сухо, и, может быть, поэтому хотелось жалеть всех.

— Почему “жалко”? — спросила Люба.

— А? — мама уже повесила на сушилку мокрую накидку и ставила на плиту чайник. — Продрогла, пока шла... Человек хороший, а всё себе на уме. Да умным-то и труднее, им кажется, что всё знают, а кто всё знать может? Самое трудное — признать, что ничего не знаешь. Тут пока жизнь не наломает, не поймёшь... И чем упорнее человек, тем сильнее ломать приходится, — она вздохнула, закипел чайник. — Молиться за таких надо...

Обычно после вечернего правила, которое мама читала строгим уставным голосом, расходились по кроватям, а Люба ещё брала в постель книгу. Но на этот раз никак не могла сосредоточиться на прочитанном, смысл постоянно ускользал, и она никак не могла понять, что мешает ей. Наконец Люба отложила книгу. Что-то надо было сделать, чтобы это беспокойное чувство отступило. Она перебрала, всё ли сделала по дому, потом поднялась и заглянула в школьный дневник, затем выглянула на улицу, и ей сыпануло в лицо дождём. Юркнув под одеяло, снова взяла книгу и снова словно споткнулась о порожок. Стала тщательно перебирать весь день и, добравшись до вечера, услышала слова мамы об учителе. “Как же я забыла!” — обрадовалась Люба и рывком выбралась из кровати. Возле икон порыв угас, и она в нерешительности задумалась: как молиться, о чём просить? Наверное, могла подсказать мама, но чувство, поднявшее с постели, было настолько её, Любино, что о нём нельзя рассказывать даже маме. Это было чувство молитвы. Вдруг Люба поняла, что не так уж и важно, какие слова она подберёт, самое главное, что её слышат. Сердце наполнялось ответным слышанием, и вот, переполнившись, скопившееся потекло по всему телу, и стало тепло, она явно ощущала, как ставшая горячей кровь пробегает по животу, по рукам, по ногам, как достигает кончиков пальцев, и сама Люба получалась горячей в разлитом по телу огне. Это сердечное стало подниматься выше,

у неё сдавило горло, и слезинки потекли по лицу. Сколько она так простояла? Наверное, не больше нескольких минут. “Как хорошо!” — подумала Люба и почувствовала, что тепло, окутавшее её, оставляет тело. Она вытерла мокрое лицо. Было удивительно легко и радостно. Словно со слезами вытекло давящее и ненужное. Люба перекрестилась и прошептала: “Господи, помилуй раба Божия Артемия”. Мелькнуло, что надо просить что-то конкретное, но она отмахнулась от мыслишки и опять прошептала: “Пресвятая Богородица, помоги рабу Божию Артемию”. Затем широко перекрестилась, как это делал в церкви учитель, легла в кровать и тут же уснула. А утром проснулась с радостным чувством, что вчера вечером всё сделалось правильно.

7

Перед Новым годом произошла размолвка с матерью. Катерина никак не хотела отпускать Любу на школьный вечер, проще говоря, на дискотеку. А ведь это был первый школьный вечер, на который допускали девятиклассников, таким образом уравнивая их со старшими классами. Конечно, какие-то школьные вечеринки случались и до этого, но тут дверь во взрослую жизнь раскрывалась шире — это и возбуждало, и создавало напряжение, словно первый раз качаешься на “тарзанке” или съезжаешь на лыжах с Барской горы. Весь класс начал готовиться ещё за месяц: девчонки перешивали платья, кто украшал свои, кому-то достались мамины, мальчишки казались более беспечными, но и они, собираясь в кружок, шушукались и замолкали, если кто-то из девчонок приближался к ним. Любу это общее волнение не могло не коснуться, и в один из вечеров она спросила Катерину: а в чём ей лучше пойти на школьный вечер?

— Какой вечер? — удивилась Катерина, а потом строго произнесла: — Никаких вечеров, — и добавила, будто оправдывая себя: — Пост.

Пост, конечно же, был ни при чём. Катерина понимала, что причина в ней самой, и от того стала ещё строже. Ей вспомнился муж и та безоглядность, которая закружила её в первые дни знакомства. Но Люба этого не знала, она искренне верила, что папа погиб от несчастного случая на стройке.

Разговор происходил в пятницу. В субботу вечером Люба в церковь не пошла. Оставшись одна, она достала из шкафа всё, что можно было надеть на вечер, и поняла, что идти ей не в чем. Ещё хуже обстояло дело с обувью.

Она долго не могла уснуть: обида на мать сменялась непонятными страхами, и если сон достигал её, то был такой явственный и ужасный, что Люба сразу просыпалась, словно встряхивали, чтобы согнать наваждение: то представлялось, что её голую выталкивают на всеобщее позорище, то гнались за ней, а она бежала по снегу босая, проваливаясь по колени в сугробы, то ещё какая-то дрянь...

Проснулась Люба поздно, мама была уже в храме. Люба поднялась с постели и какое-то время бессмысленно смотрела на часы, словно пытаясь уловить движение стрелок, а когда минутная достигла двенадцати, а часовая твёрдо утвердилась на девяти, рухнула обратно на подушку. Такая напала тоска! И от того, что Люба не могла, да и не пыталась объяснить, откуда эта тоска, становилось ещё жутче. Словно образовалась пустота, в которую всасывало Любу, а она, обессиленная, оставленная, никак не могла сопротивляться. “Может, я умираю”, — пронеслось в голове, и Люба замерла: пусть будет что будет. Так, обездвиженно, она пролежала, пока не послышался глухой звон пустых газовых баллонов, которые отец Николай приладил вместо колоколов. Три баллона подвесили на перекладину возле храма, и по праздникам они напоминали сельчанам, что жизнь продолжается. “Служба закончилась”, — подумала Люба, поднялась и стала прибирать вываленные вчера вещи. Идти было решительно не в чем.

Как ни странно, выручили одноклассницы. Чуть ли не вся девичья половина бросилась помогать Староверке, лишь бы она хоть на время стала такой, как они. Это умение объединяться совершенно разным людям для достижения сомнительных целей поразительно. Причём главным было не

включить Любу в свой круг, а вырвать из другого. Это даже казалось благим намерением. И закрутилось.

У Ольги Сорокиной оказалось старое мамино платье, которое той давно мало, а дочке — велико, Люба же статью опережала сверстниц, и платье, хоть немного и старомодное, но светлое и простенькое, оказалось впору, неуловимо подчёркивало Любину фигуру, и мама одноклассницы всплеснула руками: “Надо же...” Люба сама удивилась, увидев себя в зеркале, и тут же подумала: “Такой он меня не видел”. И испугалась того, о чём подумала.

Туфли дала Наташа Фёдорова. Любина маленькая стопа как раз влезла в туфли, которые та мотала всё лето, и к школе ей купили новые, а те, хоть и слегка потрескавшиеся, подмазали вазелином и обычной розовой акварельной краской, и они стали выглядеть вполне по-городскому.

Поход Любы на новогоднюю вечеринку превратился чуть ли не в захватывающую военную операцию: всё относящееся к делу передавалось по секрету, о котором, разумеется, знали все; обсуждение, где пройдёт переодевание Любы, походило на заседание генерального штаба перед решающей битвой, в итоге туфли и платье отнесли к Вале Моховой, которая жила ближе всех к школе.

— Не пущу, — сказала Катерина и встала в дверях, когда Люба, проведя весь день в нервном нетерпении, стала торопливо собираться на потемневшую улицу.

И тут на неё нашло. В её сознании ясно прозвучало: она должна быть на школьном вечере — и эта навязавшаяся мысль, вклинившись, застряла и вдруг заполнила всё существо, заслонив то, чем жила Люба раньше. И когда эта мысль полностью овладела Любой и стала казаться единственно правильной и справедливой, Люба почувствовала неодолимую силу, которая вошла в неё, и она теперь может постоять за свою правду. Она вытянула руки, словно хотела пройти сквозь мать, раздвинуть возникшее препятствие. Катерина тоже вскинула руки, они сцепились и так напряжённо стояли, стараясь выдавить друг друга. Катерина удивилась силе дочери. Та сама не ожидала подобного, мелькнул испуг от того, что эта сила может ещё наворотить дальше, и, почувствовав этот испуг, словно проблеск откуда изнутри, из заслонённого страшной силой существа, Люба, наверное, сдалась бы, но тут из прибора донёса глухой, но явственный хохот. Это было так неожиданно и ужасно, что обе сразу посмотрели на стену, из-за которой раздавался дикий хохот, и опустили руки. В следующую секунду Люба прошмыгнула мимо матери, юркнула ногами в валенки, руками — в куртку, а шапку уже натянула на улице и бегом понеслась прочь от дома.

На улице, несмотря на приближающийся Новый год, было уныло. Снега из-за частых оттепелей почти не было. Имевший на всё своё мнение Данилыч объяснял природную аномалию Чернобылем: “Теперь конец. И урожай не будет, — страшал он. — Какой тут урожай! Снега-то нету, а потом ещё жарница летом шибанёт. Всё, конец: покачули землю”.

Снег, унылый и чахлый, лежал вдоль дороги бесполезной и неприятной вещью. Дул ветер, такой же бесхозный и противный. Валенки скоро промокли, а лицо будто покрылось трещинками, но Люба не обращала на это внимания: она торопилась в дом, где её ждали одноклассницы, а там скорее преодолеть неизвестность, которой манил и одновременно пугал школьный вечер. Но вместо радости была скачка, как на сорвавшихся обезумевших лошадях.

Её уже ждали. Явление Староверки на дискотеку и впрямь стало событием, и многим хотелось быть к нему причастным. Люба неожиданно для себя оказалась в центре внимания, ей казалось, что все заботятся о ней и любят. В какой-то момент ей захотелось воскликнуть: “О, как я счастлива!” — закружиться и броситься целовать всех без разбору. Люба сейчас любила всех. Она почувствовала себя Золушкой, с которой происходит невероятное преобразование и скоро случится нечто поистине чудесное, чего она сама вообразить не в состоянии. А потому и не надо задумываться, надо жить этими счастливыми минутами, когда всё вокруг сказочно преобразилось: одноклассницы — прекрасные подруги, школа, украшенная шарами и гирляндами, — настоящий дворец, а спортивный зал, посередине

которого стояла высокая, под потолок, ёлка, а на самом потолке кружились голубенькие звёздочки, и есть то место, где произойдёт сказка.

Сказка началась с появления Деда Мороза, в которого превратился вечно кашляющий дядя Паша (а преобразившись, он почти не кашлял, а если и случалось, то это был не надсадный кашель курильщика, а сухое добродушное потрескивание, какое только и может быть у человека, пришедшего с мороза), и Снегурочки, в которую обратилась англичанка, слышавшая некрасивой носатой старой девой, а тут сияющая, будто обретшая долгожданного кавалера. И кавалер действительно появился. Артём Андреевич. Он был в широкополой шляпе, которая закрывала лицо (но Люба всё равно узнала и радостно встрепенулась), в чёрном плаще и с гитарой. Оказывается, Артём Андреевич прекрасно играл и пел. Получалось, что он своими песнями вроде как пытался увлечь Снегурочку, и та сразу растаяла. Это не понравилось Любе. Ведь это ей играл и пел Артём Андреевич, а не какой-то носатой англичанке, пусть и обратившейся в Снегурочку. Её вдруг укололо, что в разворачивающейся сказке ей нет места, а она лишняя — для чего она здесь? Тут появилась Баба Яга. Или вообще непонятно что, но женское и страшное, может быть, жена Деда Мороза, и стала прогонять Артемия Андреевича. Это, конечно, была физкультурница, лишившаяся дополнительных часов по истории, и обида её новостью не являлась. Ей стали все помогать. Но зачем же прогонять Артемия Андреевича? Он так хорошо играл на гитаре и пел. У него чудесный голос. Надо прогнать Снегурочку, которая оказалась ветреной и слишком мнящей о себе особой. Но всё как-то закончилось миром — все дружно спели про гитару, небо, костёр и общее собрание, после чего зажгли ёлку.

Начались танцы. Место возле ёлки, понятное дело, заняли старшеклассники, а их класс образовал круг в одном из углов зала, все начали притоптывать и крутить руками. Понемногу расходились, словно пульсирующая музыка, невольно заставлявшая биться тела в одном ритме, с каждым ударом пробивала невидимую защиту. Некоторые уже всю размахивали руками и ногами, будто внутри них всё ослабело и развинтилось, другие пока ещё только вздрагивали, но Любу поразило не это, а то, как меняются лица одноклассников. Она сначала не поняла, что происходит, казалось, продолжается сказка, в которой наступила пора очередных превращений: то светлее и добрее, что успела Люба полюбить, отслаивалось и осыпалось, как наспех покрашенное крыльцо школы после первого затяжного осеннего дождя. Люба села на стоящую вдоль стены лавку. За ней, оказывается, следили.

— Ты чего? — спросила подошедшая Мохова.

— Устала, — ответила Люба.

Мохова то ли удивлённо, то ли угрожающе хмыкнула и вернулась в круг. А Люба всё стало казаться одним большим переплётшимся клубком, который ритмично подрагивал и страшно шевелился внутри. “Как змей”, — подумала Люба, хотя никогда живых змей в таком количестве не видела.

Вдруг ритм оборвался. В пространстве разлилось медленное, тягучее, темное, волнующее...

— А ты чего сидишь?

Люба вздрогнула и увидела перед собой Витьку.

— Не бойсь, — хмыкнул он и тут же понизил голос: — Пойдём, а?

Люба ничего не поняла. Кого не бояться? Змей? Тогда Витька схватил её за руку и потянул. Люба резко вырвала руку и теперь глядела на Витьку испуганными глазами, словно он и был тем змеем, которого следовало бояться.

— Да ты чё? Пойдём потанцуем.

Люба замотала головой.

— Чё ты в самом деле? — Он снова схватил её за руку и на этот раз потянул сильнее, приподняв со скамейки. Люба попыталась вырваться, но Витька держал на этот раз крепко.

— Ты чего пристал? — С Любы глаз всё-таки не спускали: возле них оказались Мохова и Фёдорова.

— Да ну вас, — Витька бросил Любину руку и пошёл к выходу.

— Ты осторожнее с ним, — сказала Мохова.

— Это такой... негодяй, — поддержала Фёдорова, и Люба вдруг почувствовала, что ей завидуют.

Люба посмотрела на одноклассниц, хотела сказать что-то примиряющее, как вдруг увидела в мелькающих огоньках Артёма Андреевича. В зале было темно, и скользящие повсюду голубые зайчики не разгоняли тьму, а только подчёркивали её, но она точно узнала, что это был Артём Андреевич. Без шляпы и длинного плаща. И он танцевал с остроносой англичанкой. А та, склоняясь к его плечу, всё норовила клонуть его длинным носом. Люба застыла и только видела клюв англичанки и её руку на плече Артемия Андреевича.

Неприятно кольнуло в груди: “Что я здесь делаю?” — но томящая музыка и холодные зайчики словно приворожили её. “Не хватало ещё опять расплакаться...” — она подняла руку к глазам, как вдруг сладостная музыка оборвалась, вспыхнули яркие огни, зайчики снова бешено заскакали, призывно бухнуло, и застучал пульсирующий ритм, все повскакивали в круг, и начались пляски, больше похожие на камлания дикарей.

Любу опять схватили за руку, и это вывело её из обморочного состояния, она вырвалась и бросилась бежать. Ей показалось, что за ней гонятся, совсем как в недавнем сне, оттолкнув кого-то в дверях, она проскочила в гардероб, схватила куртку и выскочила на улицу.

Услышала: “Вот дура”, — и обрадовалась: голос был уже за спиной. На школьном крыльце стояли двое, Люба летела, не обращая внимания, но всё же услышала: “Светлана Аркадьевна, зачем вам это?” Захотелось обернуться: уж больно знакомым показался голос, но нельзя, нельзя оборачиваться, когда убегаешь.

Минут через пять она задохнулась и остановилась. Никто за ней не гнался. Первое, что пришло в голову: “Он назвал её по отчеству, значит, он её не любит”. Люба сделал шаг и поскользнулась на подмёрзшей к ночи дороге; тут только она заметила, что выскочила из школы в летних туфлях. “Как я теперь без валенок?” — это была вторая мысль, но тут же появилась следующая: “А, ладно, всё равно теперь никуда не пойду”.

Люба побрела к дому, однако скоро пришлось опять бежать: ноги замерзли, и шедший от земли холод пробирал по всему телу. Возле дома Люба невольно остановилась: в светящемся окне увидела силуэт матери, та стояла с опущенной головой, и рука её мерно поднималась ко лбу, потом касалась живота, плеч, опускалась, потом поднималась снова.

Люба тихонько вошла в комнату. Мать даже не обернулась. Люба быстро разделась и нырнула в кровать. О, как хорошо оказаться дома, укрыться тёплым одеялом и, ни о чём не думая, быстро уснуть!

8

Ночью Люба проснулась от того, что сильно хотелось пить. Она выпила воду, оставшуюся в чайнике, потом зачерпнула кружку холодной воды из ведра, её тут же прошиб пот, она почувствовала слабость, словно не вода влилась в тело, а тягучий горячий сироп. На ощупь, вдоль стены, добралась до кровати и укуталась одеялом, но теперь никак не получалось уснуть: Любу то накрывало странным мороком, когда начинали плясать в закрытых глазах всякие звёздочки, цветные линии изгибались и путались, словно в голове кто-то махал неоновыми палочками, то наступала полная темнота, а то начинался бред, и над мороком и бредом парило: он назвал её по отчеству, он назвал её по отчеству...

Утром Люба попыталась оторвать тяжёлую голову от подушки и не смогла. Мама принесла градусник — 39,5. Катерина пошла за доктором. На крыльце обнаружила принесённые кем-то Любины валенки. Пришедший после обеда Сергей Пантелеевич быстро и весело определил ангину, сказал, какие принимать лекарства и чем мазать горло, хмыкнув при этом, что лучше бы, конечно, употребить водки с перцем. Катерина принесла из аптеки таблетки и мази, началось лечение. Самое неприятное было терпеть, когда мама мазала горло, но Люба сказала себе, что это за непослушание. Говорить она не могла и только смотрела на мать виноватыми глазами.

На третий день, когда Катерина утром собралась мазать горло дочери, та чуть приподняла голову и коснулась щекой руки матери. Катерина отложила палочку с намотанной ваткой, присела на кровать и несколько минут так присидела, осторожно глядя дочку по раскалённой голове. Люба закрыла глаза, и Катерине показалось, что та задремала, но когда она отняла руку, Люба открыла глаза, и Катерина поняла, что та плачет, тихо и радостно. После Люба уснула без тревожных и пугающих видений.

На следующий день рано утром пришёл доктор и на этот раз осматривал Любу тщательнее, светил в горло фонариком и тёр свой большой и красный, словно чужой на худом и бледном лице нос. Потом как бы самому себе сказал:

— Может, всё-таки в город её направить, я-то ведь простой сельский врач, диплом у меня, только чтоб пилюли выписывать, а?

— Незачем, — ответила Катерина.

— Как знаете, — и добавил: — Ну, молитесь тогда.

— Мы молимся, — ответила Катерина.

— Ну да, ну да, — закивал головой, будто что-то вспоминая, Пилюлькин. — Промеж молитвами горло мазать не забывайте, — и ушёл.

К Рождеству стало полегче: температура упала до 37 с мелочью, стало легче дышать, и Люба могла шёпотом немного говорить. Но была ещё слаба и с постели не вставала. Школьный вечер, да и сама подготовка к нему с примеркой платьев, туфель, любованием в зеркале, сговорами стал казаться частью болезни, частью того бреда. Иногда она даже начинала сомневаться: а было ли?

Утром накануне Рождества пришёл отец Николай, и сразу стало весело и хорошо. “Почему он раньше не приходил?” — с упрёком подумала Люба.

— А я тоже болел, — словно прочитав Любины мысли, ответил батюшка. — Совсем немощный стал. Сын в город увозил, мол, на профилактику оборудования. А какая уж тут профилактика: Господь держит, и ладно. А я всё, дурень, думаю: зачем? Значит, так надо, значит, не всё ещё здесь исполнено. Лежу там, измаялся весь, чего лежу? Взял и сбежал на Рождество. Вчера вот служил. Так хорошо. И никаких тебе болячек — одна радость. Когда с Богом, всегда радость. Бог, Он радость и есть. С Ним и болячки с радостью приемлешь. Так что держись бодрее: будет тебе радость, помяни моё слово, совсем скоро будет. Ну, а теперь давай исповедуемся. Ты только не говори: горло-то тебе беречь надо, а только плачь. Это самое полезное в нашем положении.

И отец Николай стал читать исповедь. Читал он не торопясь, слабый голос его шелестел, словно берёзовая роща за оврагом в конце июля, когда появляются первые сухие листья и становится так спокойно и легко на душе от этого мирного приятия увядания. Хотя немножечко грустно и чего-то нестерпимо жаль, даже если понимаешь, что придёт весна, сойдёт снег, побегут ручьи, появятся новые яркие зелёные листочки, и роща оживёт... а всё равно — жаль... И себя, и рощу, и всех, всех...

Над некоторыми грехами отец Николай запинаясь и делал паузу, будто удивлялся, что не знает такого, и как такое вообще может быть на белом свете, потом вздыхал и читал дальше. Любу же эти паузы возвращали к тому, что читал отец Николай, почему-то казалось, что эти паузы не случайны, и что отец Николай делает их специально для неё, и Люба каждый раз обнаруживала, что каждый грех имеет отношение к ней, пусть даже как отголосок, пусть даже как неосуществлённое желание, но получалось, что не было греха, который бы не коснулся Любы. Когда Люба поняла это, ей стало так плохо, что она не выдержала и заплакала, и вместе со слезами стало выходить всё гадкое, что копилось, а сейчас оказалось явным, будто высвеченным мощным прожектором. К концу исповеди Люба продолжала плакать, но это были уже совсем другие слёзы: чистые, как утренняя роса. И так было радостно ощущать себя чистой росинкой.

Батюшка дал поцеловать крест и Евангелие, а потом причастил Любу запасными дарами.

— Вот и выздоравливай, — сказал он, уходя, и добавил: — Не скучай, молись. Мы на Рождество будем молиться, и ты не отставай.

Некоторое время Люба пребывала в приятном умиротворении, какое бывает в первые дни каникул, а потом спохватилась: а как молиться-то? Может, надо особые рождественские молитвы читать? Или благодарить за выздоровление? Да, благодарить... Она взяла лежащий рядом на столике Молитвослов и прочитала благодарственные молитвы по причащении. Но это было и так понятно, и привычно, что показалось Любе обыденным, как “спасибо”, которое говоришь в ответ. Но что она могла сделать? Могла бы она встать, то пошла бы в храм и помогала готовить его к празднику.

Батюшка сказал молиться, а как — не сказал... Господи, как хочется научиться молиться. Чтобы всем-всем было так же хорошо, как сейчас ей! Нет, разве это правильно, что она лежит больная и встать не может? А внутри-то как хорошо! И так хочется, чтобы так же внутри было у всех. Хотя бы на чуть-чуть. Потому что это хорошее никак нельзя забыть и по-другому уже и жить нельзя, только помнить, что это хорошее есть. Мама наверняка знает, а вот знает ли Артём Андреевич?! Как захотелось, чтобы он почувствовал! Вот так вот вынуть из своей груди и отдать! Пусть! И тут Люба представила, как она протягивает руки к Артёму Андреевичу, а тот тоже протягивает на встречу ей руки и радостно улыбается.

И вдруг она ясно осознала, о чём говорил батюшка: Бог — это радость. Всё остальное — только путь к этой радости. И по-настоящему можно радоваться, только когда ты с Богом. Люба замерла и затаила дыхание, будто эта радость могла выйти из неё, и всё равно чувствовала, как становится спокойнее и окружающий мир потихоньку обретает привычные черты.

Пришла мама, спросила:

— Ты как? — и тут же немного удивилась: — Что ты такая весёлая?

— Батюшка приходил, — ответила Люба.

— Да, я знаю.

— Он меня причастил.

— Вот и хорошо.

— Да, хорошо. Мамочка, мне так хорошо... Мне так хочется, чтобы всем было хорошо. Почему так не бывает?

— Не знаю... — она присела на краешек кровати и взяла Любину руку. — Бог приходит к каждому. Только многие не замечают: кто-то думает, что это он такой хороший, кому-то этого просто не надо... По-разному... — и как бы сама себе объяснила: — Видишь, как после причастия-то... Слава Богу...

— А я не готовилась, разве так можно?

— Батюшке виднее. Наверное, он увидел, что ты готова.

— Он сказал молиться надо, а как — не сказал.

— А ты Псалтырь почитай.

— Точно, — обрадовалась Люба.

Катерина улыбнулась, встала и принесла ей большую книгу с крупной славянской вязью. Люба попросила маму положить подушки, чтобы она могла чуть приподняться, и раскрыла книгу.

“Блажен муж иже не иде на совет нечестивых...” — прочитала Люба первые слова и стала вчитываться в каждое слово, тщательно примеряя его к себе, и выходило так, что чуть ли не каждое выражение было обращено к ней. “Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя...” “Как правильно!” — опять отозвалось в Любе, и медленно, словно входила в большую реку, она ушла в сон и поплыла, спокойно и легко.

Надо заметить: Люба совсем не умела плавать. Если она оказывалась на речке, то всё время чего-то стеснялась, да и нужды особой в плавании не испытывала, войти в реку в жаркий день и окунуться было приятно, и этого казалось достаточно. Да и сама небольшая речка, касавшаяся другого края села и торопливо убегающая дальше по своим делам, больше напоминала мимолётного знакомого, бросившего на ходу: “Привет!” А тут Любу держала настоящая большая вода, Люба чувствовала её мощь и глубину и в то же время понимала, что и она часть этой глубины и мощи, именно поэтому она может так легко и свободно плыть.

Когда она выбралась из сна, за окнами было уже темно, мама сидела в дальнем углу у стола и что-то шила. Почувствовав, что дочь проснулась, отложила шитьё и подошла к кровати.

— Как ты себя чувствуешь? — и сама улыбнулась ненужному вопросу.

— Чудесно, — ответила Люба и потянулась, словно только что выспалась в выходной день.

— Вот и слава Богу! Только что ж ты ночью делать будешь? Я-то на службу пойду, а ты? — в маминых словах не чувствовалось озабоченности, а больше весёлости.

— С тобой пойду. — Любе тоже было весело.

— Нет уж, — Катерина потрогала Любин лоб. — Температуры, кажется, у тебя нет, но... — она задумалась, словно удивилась, такой возможности. — Нет.

— Да нет же, — Любе вдруг показалось, что она и в самом деле выздоровела. — Смотри, — сказала она и рывком поднялась на кровати, свесив ноги на пол.

Голова у неё тут же закружилась, она ухватилась за край, Катерина подхватила её за плечо, и Люба медленно опустилась на подушку. С минуты обе молчали.

— Ладно, — вздохнула Люба, — я молиться буду. Ты Псалтырь куда положила?

Мама указала на приставленный к кровати стул, где рядом с лекарствами и мазями лежала так укрепившая Любу книга, нагнулась и поцеловала дочку.

— А звёздочка ещё не появилась? — вспомнила себя Люба маленькой девочкой, выходящей на крыльцо и глядящей в темнеющее небо.

Катерина ответно улыбнулась.

— Выздоровивай, приду из храма, потом уже праздновать будем.

— Я дождусь тебя, — пообещала Люба.

— Лучше постарайся ещё поспать: сон-то у тебя какой здоровый.

— Не знаю, — вздохнула Люба, — мне кажется, я на сто лет выспалась... А ты, мама, открой занавеску, я буду звёздочку ждать.

Катерина снова положила руку на лоб дочери, но на этот раз не так, как пробуют температуру, а будто благословляла и хотела передать своё тепло.

— Слава Богу за всё, — сказала она, потом сдвинула занавески у окна напротив Любиной кровати и, скоро одевшись, ушла в храм.

9

А Люба стала смотреть в окно. Оно было не совсем темно, с правой стороны чуть наискось падал свет, но Люба знала, что это уличный фонарь, которого Люба никак не могла видеть, даже если попробовать изогнуться на кровати в сторону окна. Тут ведь ещё надо не свалиться с кровати. Но Люба вдруг увидела фонарь, стоявший за большим карагачом на большой бетонной ножке. Свет провели на улице лет пять назад, когда улица потянулась новопостроенными домами вдоль овражка.

Впрочем, настоящая улица образовалась, когда на житьё в село стали перебираться люди из посёлка мелиораторов. Таких было немного, причины у людей разные, но деньги у поселковых имелись, и за коптевскими теплицами выросло несколько добротных кирпичных домов. Пришлось, правда, сделать небольшую загогулину, и улица, дойдя до места, где овраг разваливался, получилась похожей на молодой месяц, а дальше шли уже заливные луга, потом начинались совхозные поля, потом Баринов пуп, потом опять поля, потом лес, а потом уже и весь остальной мир...

Интересно, как там? Тоже ведь люди живут. И у них тоже Рождество. Тоже, наверное, так же смотрят в небо и ждут звёздочку. “Сколько же нас?” — удивилась Люба. Пусть все увидят звёздочку, её же каждый увидеть может, даже если и не ждёт. Звезда — она для всех. И для тех, кто ждёт, и для тех, кто не ждёт, — надо только смотреть в небо.

И тут Люба почувствовала, что мир за окном поменялся, к свету фонаря добавился другой, совершенно иной свет, и она никак не могла определить, какой же у него цвет. Вот от фонаря — желтоватый, с неба тянется нежно-голубой, а снег отражается белым, а этот, появившийся, — не имеет цвета вовсе. И тут Люба ясно увидела долгожданную звезду. Она ярко выделялась, и были видны лучи, исходящие от неё. Люба задохнулась от восторга, а потом подумала: неужели никто больше не видит этого? Ведь это же для всех!

Как пусто на улице... Ан нет. Кто это? Это старики Куличенко. Когда они приехали? Ну да, Люба, наверное, пропустила, пока болела, а вот выходит тётя Валя, она в последнее время стала ходить в церковь, а дядя Миша — ни в какую. Мама его называет Фомой неверующим. Хотя какой же Фома неверующий? Он за Христа умереть хотел, когда Тот пошёл Лазаря воскрешать. “Пойдём, — говорит, — и умрём вместе с Ним”, — а то, что хотел ран прикоснуться, так каждый бы, наверное, хотел...

И с мелиораторского конца улицы кто-то идёт... Но больше, конечно, из села. Тут в основном бабушки, по три-четыре соберутся и идут, помогая друг другу. Снега-то напало! И когда успел?... Вот вроде бы недавно совсем чуть не голая земля была, а теперь всё белое, пушистое, праздничное. И люди тоже праздничные, особенно когда уже входят в сам храм, оставив в прихожей, где церковная лавочка и вешалки, верхние одежды. На каждом есть что-то светлое: платочек беленький, бежевая кофточка или повязанный по спине шерстяной платок. А тётя Поля из школьной столовой пришла, как на Пасху, во всём красном и теперь стоит яркая, на петуха похожа. Все к ней подходят, говорят что-то, а она улыбается, и ей улыбаются — праздник. И много-то народу — уже и маме приходится просить расступиться, чтобы пройти в прихожую, там шкаф с книгами, берёт какую-то и обратно на клирос — все опять теснятся и понимают: уже скоро.

И вот батюшка, тоже весь в белом, выходит на клирос и возглашает: “Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков!” Все, конечно, и так стоят, кроме самых уж немощных, но всё тишаёт, все этого ждали, и теперь заботы века сего отступают, а у кого не получается совсем освободиться, то всё равно слабеют земные пути, дают свободнее вздохнуть и хотя бы попытаться хоть сколько-то, пусть и не всю службу, но пусть даже эту первую минуту почувствовать себя причастным Богу. А служба движется, мама читает псалмы. Как и в прошлом году, так и в будущем, и это не только здесь в их селе, а и дальше, по всей Земле, — вот это, наверное, и значит, что у Бога нет ни времени, ни пространства, а может, это что другое значит, и зачем эти мысли, когда служба, служба и есть вечность, и как бы научиться всегда пребывать в ней, а не отвлекаться на все эти пространства, времена, зачем опять думать об этом, только с Богом, всё остальное лишнее, всё остальное отблеск Бога, но не сам Бог, а надо только с Ним и чтобы ничто не мешало... “Миром Господу помолимся...” Миром — это значит пребывая в Духе, который мирен и касается каждого. И через каждого мирный Дух перетекает в мир, и мир становится другим, и в нём начинает пребывать мир... Господи, зачем опять мысли, почему не получается просто молиться?! Просто, без мыслей! “...когда пришла полнота времени, послал Бог Сына Своего Единородного, родившегося от жены, подчинившегося Закону, чтобы искупить тех, кто под Законом, чтобы нам получить усыновление...” Это мама читает Апостол. Уже Литургия. Сейчас Евангелие будет. “И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, пока не пришла и не стала над местом, где был Младенец...” — а звезда над всеми стала, она сама видела, и каждый может видеть её.

Люба удивилась, когда услышала, как в сенцах мама снимает куртку. Как быстро! Неужели она задремала? Но ведь она же всех-всех видела.

Катерина зашла и сразу подошла к Любиной кровати.

— Не спишь? — улыбнулась она. — Я вот тебе конфет шоколадных принесла.

— Спасибо, — ответила Люба. — А можно яичко?

Катерина рассмеялась:

— У тебя прям Пасха!

— Пусть будет Пасха, — ответила Люба и сладко потянулась: — Так что-то яичка хочется!

Когда Люба откусила первое из сваренных вкрутую Катериной яичек, она сладостно протянула:

— М-м-м, — а потом, открыв глаза, спросила: — А тётя Поля в красном была?

— Да, — удивилась Катерина. — Откуда ты знаешь?

— Так, привиделось, — ответила Люба и, отправив в рот вторую половинку яичка, довольно зажмурилась, словно большего удовольствия и придумать невозможно.

А Катерина подумала, что правильно сделала, что не повезла дочь в город, как советовал доктор.

10

После каникул пришли одноклассники, и пришли они вместе с Артёмом Андреевичем. При этом и девочки, и мальчики (а их набилось в комнату с десятком, так что и развернуться стало нелегко: “Как в храме на Рождество”, — подумала Люба) выглядели смущёнными и немного растерянными, старались спрятаться за Артёма Андреевича и смотреть больше по сторонам, а не на Любу. А тут, куда ни глянь: везде иконы, и, наверное, от их строгих ликов сквозь смущение и растерянность стало яснее проступать новое и не совсем понятное: то ли чувство вины, то ли жалость, то ли желание, чтобы тебя самого пожалели.

Катерина убрала со стула, стоящего возле Любиной постели, книги и, чуть отодвинув его, предположила учителю, остальные сгрудились сзади.

— Мы тебе фруктов собрали, — Артём Андреевич поднял перед собой полиэтиленовый мешочек и, не найдя, куда положить его, отыскал глазами Катерину. — Вы поможете их: Любе сейчас витамины очень нужны.

Катерина взяла пакет и скоро принесла в большой салатнице разноцветную горку: краснобокие яблоки, зеленоватые груши и что-то ещё, удивительно малиново-жёлтое и бархатистое.

— Ой, что это? — удивлённо обрадовалась весёлым шарикам Люба.

— Что? — не понял учитель.

— Ну, вот эти, маленькие...

— А-а, это персики, — сказал Артём Андреевич и смутился. Затем, выбрав с тарелки самый крупный, протянул Любе необычный плод.

Люба взяла его и снова засмеялась: такой он показался ей пушистенький и живой.

— Какой миленький, — сказала она и положила персик перед собой на одеяло, стала поглаживать шершавую шкурку, потом спохватилась: — Да вы угощайтесь, берите, берите, тут много всего.

Сначала одна рука, потом другая, потом ещё потянулись к салатнице, и скоро там остались только яблоки и груши. Люба перестала гладить свой персик и прикрыла его ладошкой.

— Как только тебе станет лучше, мы будем приходить к тебе помогать с уроками, — сказал Артём Андреевич. — Правда, ребята?

— Правда, — не совсем дружно отозвалось за спиной, большинство было занято фруктами, кто удерживал мякоть во рту, у кого сок тёк по рукам, и никак нельзя было упустить ни капельки.

У Любы вырвалось:

— И вы будете приходить?

Он посмотрел в сторону, но ответил:

— Конечно.

Потом посмотрел на Любу и быстро добавил:

— Тебе никак нельзя бросать учёбу, поэтому надо обязательно нагнать. Ты же сможешь, ладно?

Люба аж задохнулась от того, как он долго смотрел на неё.

— Я обязательно нагоню.

Когда гости ушли, Люба убрала ладошку с персика и поднесла его к лицу. Неужели эта та радость, о которой говорил батюшка? Такой миленький... Неужели так мало надо для счастья?

— Да съешь ты его, — сказала вечером мама и, увидев испуг на лице дочери, вздохнула: — Пропадёт ведь...

Выручил, как всегда, отец Николай — зашёл проведать после воскресной службы и сразу увидел персик.

— О, откуда такая невидаль? У нас вроде такие не растут.

— Это персик, — пояснила недогадливому батюшке Люба и так же серьёзно добавила: — Мне его Артём Андреевич подарил.

— А-а, раб Божий Артемий, — протянул отец Николай. — Ну, так и съешь его.

— Он живой, — объявила Люба и снова сделала невольное движение рукой, защищая персик.

— Понятно, что живой, — согласился отец Николай. — Вот и Господь сказал: питайтесь от земли и плодов её. Это чтобы жизнь жизнью поддерживалась. А чтобы от всякого плода было благо, нужно разумение. Вот тебе Господь послал сей фрукт для выздоровления, там, поди, витаминов не счесть. А если его так мусолить, то персик твой зачахнет и погибнет без всякой пользы.

Ах, какая вкуснятина скрывалась в этом маленьком чудесном шарике!

Косточку от персика Люба сохранила, вынула из неё семечко, чтобы по весне посадить.

II

Пасха была поздняя, попала прямо под майские праздники. Снег давно уже стаял и ушёл талой водой в Ветлянку, и та раздалась и разошлась, словно подруга жениха на свадьбе. Но ничего, скоро утихнет, войдёт в русло, а пока и по оврагам шумно, и вообще всё вокруг движется, торопится, соскучилось по теплу, а солнышко припекает, так что на Вербное можно было и кофточку не надевать, к вечеру только. На майские ждали по обыкновению заморозков, и Люба переживала: как же семечко переживёт? Оно уже набухло, стало мягким, и в коричневом цвете проступили нежные оттенки, казалось, семечко чуть ли не просилось уже в землю, чтобы дать росток, но батюшка сказал: после Пасхи, значит, после Пасхи. И Люба терпела. К тому же главной заботой для неё стала учёба.

Чуть оправившись от болезни, она так рьяно взялась за учебники, что заходившие с домашними заданиями одноклассницы скоро стали спрашивать, как решать ту или иную задачу. А уж что касалось истории... Люба чуть ли не через день просила маму сходить в библиотеку и принести новую книгу.

Еле дождалась Люба, когда можно было идти в школу. Потом Великий пост начался, а начало его Люба всегда ждала с нетерпением. Ей неловко было признаваться в этом: какая уж, казалось бы, радость! Кругом только и слышишь: ох, грехи наши тяжкие, и одеваются во всё тёмное, и сами печальные, словно беда какая, а Люба радуется. В самой себе, правда, так-то при всех неудобно. Почему так? Может, и другие так же? Радуются про себя, а никому не показывают. А ведь... Ну, конечно, это всё-таки и не радость даже, а другое. Может, восторг? Нет, больше. Вот как у поэтов, наверное, вдохновение. “Душа моя, восстани, что спиши...” И вот чувствуешь, что встаёшь. Нет, именно восстаёшь. Ото всего. И правда, ведь как будто, получается, спала. А тут Бог тебя зовёт: восстани, говорит, идём ко Мне. И вот устремляешься... Нет, поэтам такое и не снилось, такое только в церкви.

В школе к ней стали относиться иначе. Она не могла объяснить, что изменилось, но её перестали демонстративно игнорировать на переменах, к ней стали обращаться не только, чтобы списать домашнее задание, а вот Валя Большакова недавно спросила, как ей её новая заколка, и хотя заколка была похожа на змею, Люба ответила: “Хорошая, на змейку похожа”, — а Валя рассмеялась в ответ: “Я такая”. Люба перестала быть пустым местом, каким она порой себя ощущала, и потом увлечение историей...

Всё складывалось так прекрасно, словно обещание счастья. Да, подтверждала свои чувства Люба, скоро Пасха.

А пост и правда летел на удивление как никогда быстро: вот уже и вынесли крест, вот чтение жития Марии; на Благовещение вообще можно было подумать, что уже Пасха пришла — так хорошо и тихо было на земле; вот уже и Вербное, а затем Страстная, во время которой радость по-прежнему не оставляла Любу, и это было так удивительно: переживать радость и скорбь во время чтения Двенадцати Евангелий. Каждое было о последних днях, часах, минутах Христа, и Люба ясно видела растерянных учеников, вопрошающих: “Не я ли, Господи?” (и Люба тоже начинала озираться в храме, словно ища поддержки у окружающих — не я ли?), — а Господь встаёт (ей почему-то виделось, что обязательно встаёт) с чашей и произносит, точь-в-точь как священник, поднимая руки: “Пейте от неё все”. А потом Иуда уходит. Молча. И идёт по тёмным заковыристым улочкам Иерусалима, а там его уже ждут. Они торопятся. Им нужно, чтобы один Человек ушёл из этого мира навсегда, и тогда можно будет успокоиться и продолжать спать. Так они думают. И Христос всё понимает, и Ему очень грустно, и жаль Иуду, и жаль людей, которые думают, что всё будет, как прежде, но Он уже сказал душе каждого “восстани”, и Он знает, как трудно идти за Ним и как легко пребывать во сне. И поэтому голос у Него уже — голос уставшего человека. Он знает: ничего не изменится на Земле. Каждый день, каждый час Его снова и снова будут предавать, а через несколько часов разбегутся и одиннадцать оставшихся учеников, даже Пётр... Какая скорбь касалась Его человеческого сердца! И Он ещё не может точно знать, соберутся ли они вновь, примут ли Духа Святого, и станет ли Пётр камнем, на котором созиждется Его Церковь, в которой стоит сейчас Люба. И врата ада не одолеют её. А Он сейчас может только верить, что так будет. И значит, в стоящую тут Любу тоже верит. Любе хотелось ответить: “Да”, — она здесь, и для неё уже не существовало ни времени, ни пространства — и это были самые восхитительные минуты.

Любе казалось, что весь мир радуется и готовится встретить Христа. Весна набирала силу. Днём ходили по-летнему, и так приятно было подставлять под весеннее солнце лицо или спину и чувствовать, как лучики поглаживают между лопаток; сквозь прошлогоднюю траву пробивалась ярко-зелёная новая, а на деревьях появились маленькие, ещё не обсохшие, как только что народившийся телёнок, листочки.

Но в ночь холодало. Поэтому в храм Люба надела тёплую юбку и вязаную белую кофточку, платок же был красный, который Люба надевала только на Светлую неделю. И когда она повязывала его, то вдруг вспомнила, как примеряла перед зеркалом пионерский галстук, и ей стало смешно: “Какая же я была глупая”, — подумала она.

Как ни странно, Любины ощущения, что чуть ли не всё село ждёт Пасхи, оказались во многом верными: народу вокруг храма собралось неслыханное множество. Были тут, конечно, и просто любопытные, были те, кто уже начал праздновать Первомай, были и те, кто, ужаленный словом “перестройка”, носился по всему селу осенней мухой, ища скопления людей и поводов, и всё же Люба растерялась, когда мама попросила принести из дома несколько чашек на клирос, где тоже уже было не развернуться: собрались все, кто мог петь, чего и на Рождество не случалось; потом на клиросе запросились те, кто ходил в храм регулярно, и нахождение на клиросе как бы подчёркивало их большую принадлежность к церкви, затем уже стали пускать совсем стареньких, потому что стоять в помещении становилось всё тяжелее: народ теснил, было душно, а лавочек вдоль стен не хватало.

Из храма-то Люба выбежала, а вот обратно пробраться уже не получалось, а тут чашки ещё. Одной рукой Люба прижимала их к груди, другой нащупывала щёлочку между людьми и пыталась туда втиснуться. Кто-то двигался, кто-то ворчал, кто-то пытался помочь, двигая впереди стоящих, и вдруг, когда Люба почти подобралась к дверям храма, она увидела Артёма Андреевича. Он вытягивался на цыпочках, стараясь заглянуть через спины людей, и был похож скорее на любопытного мальчишку, чем на учителя.

Люба немного изменила прямоту маршрута и, оказавшись рядом, коснулась плеча учителя и, удивляясь собственной смелости, толкнула его. Тот удивлённо обернулся, но тут же приветливо улыбнулся.

— Идите за мной, — сказал Люба и решительно, чего не делала, проталкиваясь с чашками, произнесла: — Пропустите!

И надо же: теперь люди сами старались подвинуться и дать дорогу, словно у Любы заработал всем понятный сигнал, как у машины “скорой помощи”!

— А куда мы идём? — спросил Артём Андреевич, когда оказались внутри храма.

— На клирос, — ответила Люба и уверенно продолжала движение вперёд. Впрочем, в храме оказалось свободнее, чем на улице, да и стоявшие здесь почти все знали Любу, предупредительно давали дорогу.

На клиросе Люба протянула маме чашки, та взяла и посмотрела на Артемия Андреевича, тот улыбнулся и развёл руками.

— Здравствуйте, — сказала Катерина, как будто подтверждая то, что уже знала.

Артемий Андреевич ответно кивнул: мол, я не виноват. И Катерина, конечно, знала, что мужчины никогда не считают себя виноватыми, они так и думают, что их взяли за руку и повели, а они тут и ни при чём.

— Встаньте возле окошка, — сказал она, — там табуретка есть, если что, можете присесть.

Артём Андреевич смешно замотал головой, мол, никакая табуретка ему не нужна, и стал возле приоткрытого окна.

— Не сильно дует? — спросила Катерина.

Тот снова замотал головой, и тут уж некоторые старушки на клиросе заулыбались.

— Ну, и слава Богу, — и Катерина обратилась к разложенным на столике уставным книгам.

И вот донеслось: “Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков”, — и Люба не узнала голоса отца Николая, не было в нём привычной надтреснутости болящего человека, а звучала уверенность и сила, пусть пока еле слышно, как весть, исходящая из глубин то ли времени, то ли пространства, то ли из самой пещеры, в которой лежал умерший Бог.

В храме всё постепенно успокаивалось и сосредотачивалось на том далёком, едва различимом голосе, на который отзывалось сердце. За стенами храма продолжало гудеть человеческое море, а тут несколько тёплых свечей и далёкий голос. Катерина показала пальцем Любе текст — 50-й псалом. Люба его и так наизусть знала, и потому вздохнула с облегчением, холодок исчез, и она произнесла первые слова Псалма, не глядя в книгу: “Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...” — и тоже не узнала своего голоса. И вздрогнула от того, как громко прозвучали слова, словно отразились в каждом быющем в храме сердце и, усиленные стократно, стали вдруг осязаемы. Люба явно почувствовала, как краешек “велицей милости” коснулся всех стоящих и её тоже. И стало легко, будто непонятно, какая давившая тяжесть спала: да, она чувствовала эту милость, да, она коснулась и её тоже — Любин голос зазвенел, и покаянный псалом наполнился такой радостью, что хотелось плакать и ликовать одновременно, и лететь, лететь... И последнее “...и тогда возложат на алтарь Твой тельцы...” прозвучало твёрдо и уверенно, как, наверное, говорит вернувшийся и почувствовавший землю космонавт. И Люба вдруг ощутила усталость, она опустила голову на подставку, где лежали книги, и некоторое время стояла, прислушиваясь к себе и окружающему миру, словно наводила резкость во внутренних невидимых окулярах.

А уже батюшка вышел к плащанице, и ему отвечал хор с клироса: “Но мы, яко отроковицы, Господеви поем...” Люба невольно улыбнулась: “Отроковицы...” Мама, матушка Вера, бабушки — как чудесно они поют! И батюшка... Как она могла подумать, что это только её коснулась милость! Всех, всех коснулась, все чувствуют, что мир изменился, этого нельзя не ощущать!

Батюшка поднял плащаницу, понёс в алтарь, и всё замерло в ожидании чуда. Время замерло, и стало не по себе, все свечи загасили, и сразу почувствовался холод в храме, хотя до этого не ощущался. Что же так долго? Хотя разве может быть “долго”, если время остановилось? Люба с тревогой посмотрела в сторону мамы: не случилось ли что с бабушкой — и не различила мамы в сгустившейся тьме. Хоть какой огонёк... Хоть звук... Даже с улицы ничего не слышно. Господи, куда подевались все?! И тут послышалось:

— Христос воскрес из мертвых...

Люба вся подалась на этот звук, на это единственное живое, что рассекало навалившееся омертвелое оцепенение, и голос тоже тянулся к ней и креп:

— Христос воскрес...

В алтаре показался свет, и всё, оживая, задвигалось, стало слышно улицу, зажгли свечи на подсвечниках в храме, мальчик с большими, казалось, навечно удивлёнными глазами, вышел перед аналоем с крестом (это Серёжа, он из 6-го класса, его родители в городе, и живёт с бабушкой), за ним с иконой — отец Николай, дальше с хоругвями дядя Валера с другого конца села и его сын, осенью вернувшийся из армии, Лёша. А бывшему старенькому учителю истории Сергею Ивановичу дали нести фонарь со свечой, и он всё никак не мог пристроиться за Серёжей, и так они смотрелись: удивлённый и смиренный мальчик и не понимающий, что делать, учитель, что Люба прыснула в кулачок. Тут же одёрнула себя, но оглянулась и увидела, что у всех если не улыбки на лицах, то глаза радуются, лица — какие тёплые и замечательные лица! Так хочется всех обнять и расцеловать! Вот же какие они, люди, все на самом деле!

Мама сошла с клироса и встала за хоругвями, за ней потянулись певчие, хотя теперь все пели, кто знал и кто не знал, пасхальный тропарь, и всё смелее, громче разнося радость на оставшийся за стенами храма мир.

Народ встретил крестный ход с шумом. Веселье давно ожидало выхода, где-то грохнули оставшиеся с Нового года хлопушки, где-то зажгли вместо свечей диковинные бенгальские огни, где-то заорали “ура”, но возглас отца Николая:

— Христос Воскресе! — слышен был так явственно и чётко, что не вызвал никаких сомнений: это и есть самое главное.

И единым выдохом всё перекрывало ответное:

— Воистину Воскресе!

Да и не только перекрывало, а как-то вбирало в себя и хлопушки, и бенгальские огни, и “ура!” — всё это становилось частью ликующего возгласа и потому звучало несколько разухабисто, но зато дружно и непобедимо.

После крестного хода народ вернулся в храм восторженный, все что-то говорили, поздравляли знакомых и не особо знакомых, всех, кто оказался рядом. Батюшка ещё несколько раз выходил и восклицал:

— Христос Воскресе!

И все единым духом утверждали:

— Воистину Воскресе!

Люба заметила, что в храме стало просторнее: пройдя крестным ходом и засвидетельствовав Воскресение, люди расходились к накрытым столам. “Жалко, — на секунду отвлеклась она, — это же только начало, столько ещё радости...”

Какое это чудо — соединиться с Христом в Его день! И снова почувствовать Любовь, соединившуюся теперь с обретенной уверенностью.

После причастия Люба вернулась на клирос, где начали христосоваться, и для неё было продолжением радости давать каждому яичко и приветствовать троекратным целованием такие же радостные и прекрасные лица — и вдруг она вспомнила об учителе: неужели он ушёл — кольнуло внутри, но тут же она увидела его, стоящего там же возле открытого окошка и улыбающегося своей нездешней очаровательной улыбкой, и тогда её не просто закололо, она почувствовала холод, который тяжестью пополз по низу живота и начал тянуть вниз, на землю, словно снова начали действовать законы земного притяжения, о которых Люба забыла.

— Христос Воскресе! — тихо сказала Люба и протянула яичко.

Артём Андреевич принял яичко, и Люба почувствовала, какие горячие у него ладони. Теперь надо было целоваться. Люба стояла, опустив руки.

— Какая светлая, — произнёс историк, склонился и поцеловал её, потом ещё и ещё. Три раза, как положено.

Последний поцелуй получился дольше, его губы на секунду словно забылись на щеке, и Люба закрыла глаза. А когда открыла, увидела, что на неё смотрит мать.

— Воистину Воскресе, — произнёс Артём Андреевич и тоже тихо, будто хотел сказать что-то другое.

А в сумерках следующего дня Люба в дальнем углу двора посадила набухшее и слегка раскоровившееся семечко персика.

12

Недели через две рано утром Катерина услышала радостный вопль дочери, а затем в дом влетела Люба:

— Мама! Мама! Быстрее, идём! — она схватила Катерину за руку, потянула во двор, а затем бросила и побежала к дальнему углу. — Смотри!

Катерина подошла и сначала не поняла, да и потом не поняла, долго стояла и всматривалась в маленький зелёный кончик, торчащий из-под рыхлой коричневой земли.

Она стояла и думала о том, верит она или не верит. Она всегда считала, что верит в Бога и Богу, и потому служит ему, но вот она не может поверить в явное чудо. Вернее, она не может принять его. Ведь не должно было этого случиться. По всем законам природы не должно было. А как же Люба? Она, получается, верит. Но для неё в этом зелёном кончике и нет никакого чуда, для неё так и должно быть. И что такое вера: уверенность в том, что будет, когда ты убеждаешь каждый раз себя: да, это будет, или просто жизнь без всяких убеждений и уговариваний, просто знаешь, что утром встанет солнце, и никак по этому поводу не переживаешь?

— Надо будет колышки поставить и верёвку натянуть, — сказала Катерина. — Мало ли...

13

Май пролетел, как цветущий миг. Класс разделился пополам: те, кто не собирался идти в десятый, вообще перестали появляться в школе, а другая половина усиленно зубрила. Люба даже не сомневалась, что будет учиться дальше: Артём Андреевич сказал — и она будет. Она чувствовала в себе бурлящие силы, готовые затопить весь мир. В школу Люба летела и с замиранием сердца ждала, когда появится Артём Андреевич. Он приходил минут за двадцать до начала уроков. С каждым здоровался, отвечая кивком головы или улыбкой, но Любе казалось, что с ней он здоровается по-особенному: он и улыбается лучистее, и кивает приветливее. Впрочем, скоро ей показалось, что историк стал чуть ли не сторониться её: завидев, опускал глаза, старался быстрее пройти школьное крыльцо и на уроке, как ни тянула Люба руку, не вызывал.

“Конечно, — решила Люба, — он не хочет, чтобы кто-нибудь обратил внимание. Как же долго ещё ждать!”

Она считала, что ждать целых два года, пока она окончит школу, и тогда уже ничто не сможет помешать её счастью. А пока надо самым тщательным образом скрывать ото всех, что она влюблена.

Экзамены Люба сдала легко и благополучно перешла в десятый класс. Приближался выпускной, после которого класс должен был окончательно распаться. На этот раз Люба сама готовилась к школьному вечеру. Она обнаружила мамину платё в крупный горошек, и оно удивительно легко и точно легло на её фигуру. Катерина всплеснула руками и, ни словом не помянув новогодние злоключения и их последствия, стала помогать дочери. Катерина же испросила у кого-то туфли, которые подошли идеально. Осмотрев

собранную дочку перед тем, как той идти на выпускной, сама порадовалась: — Красота! — и вздохнула: — Вырастешь ты ещё из всего этого. — Ну, это когда ещё, — весело отмахнулась Люба и добавила: — Года через два...

С выпускного Люба вернулась рано: темь ещё не успела загустеть и заполнить пространство. Сняла в прихожей туфли. Сняла платье, повесила аккуратно в шкаф, надела ночную сорочку, легла на кровать и долго смотрела на белёный потолок, так долго, что на нём стали различимы трещинки, которые постепенно превратились в паутину, затем откуда-то по ней поползли муравьи, и наконец Люба уснула.

14

Приехали из города на лето Куличенки, и тётя Поля, зайдя к Катерине, с выпученными глазами рассказывала, какие творятся страсти: народ, как очумелый, носится по улицам, и все друг дружку поубивать готовы. Но главное — цены растут каждый день, каждый Божий день, вчера хлеб был полтинник, а сегодня уже — рупь. Если так пойдёт, то как жить-то?

Катерина, казалось, слушала спокойно, только покачивала головой, словно это происходило где-то в другом мире, и она сочувствует тёте Поле, оказавшейся в том мире, но её это если и касается, то постольку поскольку. Тем не менее на следующий день Катерина сняла все деньги со сберкнижки и среди недели отправилась в город, оставив Любу на хозяйстве. Вернулась она поздно вечером на небольшом фургончике, из которого двое мужиков выгрузили новый большой холодильник, стиральную машину и новую швейную машинку, а также мешок, набитый новыми платьями, кофтами, курткой на Любу, пальто обним, отрезами и ещё кучей барахла, в общем, стало понятно, что Катерина мудро потратила всё.

Городская смута волнами докатывалась до села. Напряжение росло, и оно могло вылиться во что угодно: могли начать громить всё вокруг, могли начать собирать ополчение. Не чувствовать сгущающуюся силу становилось невозможно, и страху это только добавляло, потому что с тем, куда качнёт, никакой ясности не было. Да, собственно, и какая разница — куда... Всё одно — в нас.

Но как раз подоспела уборка хлеба, и природная, привычная жизнь вернула к земле. На новости из города если и обращали внимание, то словно происходило всё где-то далеко, чуть ли не на другой планете, только бабка Зинаида ходила по селу и грозила:

— Война будет, война будет...

Её гнали, бранили, однако вдруг в сельпо пропал сахар, потом продавщица Антонина объявила, что соль будет давать только по пачке в руки, затем исчезли спички. Полки опустели. Антонина уволилась и уехала в город. И на бабку Зинаиду уже смотрели с нескрываемой тоской по уходящей жизни.

Всех взбадривал Данилыч:

— Да и хрен с ним, с городом, мы-то себя прокормим, а они пусть хоть удавятся.

И верилось, что вот соберут урожай, и действительно смогут спокойно пережить зиму, а там уж, глядишь, всё устаканится, войдёт в свою колею. А пока спасала работа.

15

Откуда-то повывлезли люди, которых раньше никто не замечал, просто не обращали внимания, как на народ пустой и никчёмный. Вроде и немного таких на селе обреталось, но тут они разом заполнили всё пространство, только их стало видно и слышно. Словно поражённые нездешней болезнью, они мельтешили по селу, и вольно-невольно разносимый ими раздражительный зуд доставал каждого. Казалось, даже дышать теперь тяжелее, словно и воздух оказался отравлен.

— Конец света скоро, — пугала другая бабка — Нина, удобно усевшись на лавочке подле магазина. — И в книге написано: птицы железные будут летать, и колесницы железные вместо коней. Вот оно и есть. Так что — скоро.

Рассевшиеся рядом селянки охали, тут появлялась Зинаида и, опершись на клюку, подливала масла в огонь:

— Война будет!

Бабки охали ещё сильнее, ужасы войны помнили все, а вот конца света ещё пережить не доводилось. А Зинаида, шамкая беззубым ртом, приводила бесспорные аргументы:

— Мыла не завозят, спичек нет, и хлеб стал ненастоящий, как мёртвый.

И все согласно кивали: хлеб последнее время и правда привозили не таковой, словно и в него подмешивали глину.

— Это американцы всё, — объяснял Данилыч в мужском кружке. — Они нам эту заразу, как колорадского жука, по почте присылают. А мы и рады, дураки, носимся, как ужаленные: “свобода, свобода”. Какая на хрен свобода?! Где она?

— Да, — соглашался старый Михай. — От себя не удерёшь.

Молодёжь ничего такого не обсуждала, но чувство тревоги накрыло и её. Враг приближался. Впрочем, скорее это больше напоминало детские игры в войнушку, но потому как никто не собирался давать отпор, надвигающееся воспринималось как нечто неотвратимо-стихийное. Как шквалистый ветер, неожиданно налетевший, наломавший деревьев и заваливший несколько опорных столбов, так что пару дней село пребывало без электричества. И как раз после этих тёмных дней лейтмотивом зазвучало: валить надо отсюда. Это подавалось под разными соусами: отсутствием работы, перспектив, развлечений, но главным оставалось одно — валить. Слово в городе можно было затеряться от готовящейся катастрофы, и там тебя не найдут. Выходило так, что раньше, стараясь затеряться, бежали в село, а теперь — в город.

В общем, никто ничего хорошего не ждал, даже те, кто носился по селу, распространяя демократию, казалось, сами непонятно чего боялись, ибо временами, передавая очередную новость из центра, переходили на шёпот.

А Люба ждала только радости. Даже не ждала, а жила ею. Она подходила к магазину, и все разговоры стихали, словно волшебная сила накладывала печать на уста, и все только смотрели на то, как она идёт. Люба здоровалась, ей отвечали, и ещё какое-то время улыбка не сходила с подобранных лиц. Иногда, правда, кто-нибудь то ли с завистью, то ли с укором восклицал:

— Вот ведь живёт себе! И никакого дела нет до конца света. — И возглас словно отсекал Любу от остальных и возвращал всех к окружающей действительности.

А Люба выходила из магазина и, проходя, снова кивала сидящим:

— Всего доброго!

И снова все замолкали и смотрели ей вслед.

Однажды Люба услышала, что “он там теперь в городе покажет...”, “конечно, ему там место, чего он тут забыл...”, “он приткий, глядишь, и в начальство пройдёт”. Однажды она поняла, о ком говорят. А поняв, не поверила. Это совершенно не укладывалось в радостный мир, который существовал в её представлении. Этого не могло быть, потому что тогда все ожидания теряли смысл. Нечего становилось ждать.

Любе всё меньше и меньше хотелось выходить на улицу, казалось, мир замкнулся для неё в трёх точках: дом, церковь и укрепляющийся на огороде росточек — остальное пугало. Дошло до того, что 1 сентября она не захотела идти в школу. Но как бы она объяснила это маме, что в школе теперь и есть самая главная пустота?

Учителя, а ещё больше директор, показались не то чтобы напуганными, а скорее растерянными, словно ввели новую школьную дисциплину, дали название, а что это такое, как её преподавать, инструкций не дали, и вот теперь делай как знаешь. А как? Торжественная линейка, которой открывался учебный год, получилась скомканная. Директор путано и непонятно талдычил: что бы ни происходило в стране, главное — хорошо учиться, чтобы стать

достойными гражданами. От ветеранов сказала слово Анастасия Павловна, которая после выхода на пенсию быстро превратилась в маленькую высохшую щелку, и трудно было узнать в ней живую и обаятельную некогда учительницу. Она неожиданно стала по-старчески вспоминать про былые времена, и как тогда люди трудились и старались помогать друг другу. Потом осеклась, пожелала всем стать хорошими людьми, а про учёбу так ничего и не сказала. Больше никто не выступал. Ваня Тарасов из старшего класса пронёс на плече пухленькую девчущку, которая старательно размахивала колокольчиком, и все пошли по своим кабинетам. Но не было обычного оживления, толкотни: всё словно накрыло предгрозовой тенью. Тут же эта старуха Зинаида припёрлась. В школьный двор её не пустили, и она стояла у ограды, но встала так удачно, что каждый мог видеть, как время от времени раскрывается её беззубый рот и поднимается сухая рука с такой же сухой узловатой палкой. Было похоже на испорченный механизм, и от того становилось ещё тоскливее.

Люба как будто знала, что так всё и должно происходить, но ещё надеялась. Надежда рухнула, когда в класс вошла Лидия Петровна и с некоторой ехидцей сообщила:

— Артём Андреевич больше у нас не работает. Он теперь в городе историю делает.

16

Люба охладела к учёбе. В школу ходила больше по инерции. Как-то отец Николай, выйдя из церкви, приметил её, стоящую у ограды, и спросил:

— Ты чего смурная ходишь?

— Не знаю, батюшка, — отозвалась Люба.

— Да как же? — удивился отец Николай. — Вот только что радостная летала, глянешь на тебя, и самому светло, а теперь киснешь...

— Кисну, — согласилась Люба.

— Сядь-ка, — указал он на скамеечку и сам сел, чуть откинув голову, ветерок зашевелил волосы на его голове, и отец Николай так же тихо улыбнулся ветерку, потом повернулся к Любе: — Закишать нам никак нельзя. Нам Господь столько радости даёт, а мы чуть что — киснуть. И куда нас потом, прокисших-то? Тебе же Господь показал, какой радостной ты можешь быть, вот и помни это, и старайся соответствовать.

Люба пожала плечами.

— Что-то не получается...

— А это у тебя испытание такое. Тогда Господь с тобой был и за руку держал, а теперь чуть отошёл, мол, а ну-ка, иди сама, а ты сразу и нони распустила.

— Так зачем же Он отошёл, батюшка? Пусть бы всегда рядом был.

— Эх, а как же ты сама-то ходить научишься! Вот помни ту радость и иди, иди к Богу.

— А как же узнать, где Он?

— Тут только сердце подскажет. Он тебя любит, и ты люби Его. Вот и будет полнота. Потому как настоящая любовь всегда ответная.

— А безответная бывает?

— Э-э, у нас тут на земле чего только не бывает. От того и тоска случается. Только ведь и такая любовь — это начало настоящей любви. Если, конечно, правильно идти. А почему тоска? Опять-таки по полноте любви. И вот смотри: Бог-то всякого любит, а ты ответь на Его любовь, отзовись — вот и полнота. И что твоя печаль по сравнению с Божеской. Ты представь только: Бог человека любит, а тот Его нет. И сколько таких неполных любовей. И за каждого Он страдает. И не так, как мы тут. Он-то знает, чем неразделённая с Ним любовь кончиться может. Вот и стучит Бог в каждое сердце, а у нас заботы века сего... А Он смотрит на нас, таких любимых Ему и непутёвых, и как же, наверное, одиноко Ему порой от нашей нелюбви...

— Так ведь Бог, Он же всё может, пусть скажет...

— Нет, Любонька, так нельзя. Заставить полюбить нельзя. Этого Бог никак не может. Потому что это уже не любовь будет. Это будет, как я хочу.

Самочиние и самомнение. А это уже страсть. Чем страсть отличается от любви? Это когда я хочу, пусть будет по-моему. Пусть даже из лучших побуждений. Я, мол, знаю, как лучше. Но — я знаю. Вот тут-то и ловушка. Поэтому что любовь — всегда жертва. Надо “не пусть будет, как я хочу”, а “пусть будет, как хочет тот, кого люблю”. И представь: если ты любишь Бога и хочешь, чтобы всё было, как Он хочет, а Он любит тебя и хочет, чтобы было, как ты хочешь, тут-то и достигается полнота. Вот чего жаждет Бог.

— А как же... — начала растерянно Люба, чувствуя, что Артемий Андреевич в эту систему, которую нарисовал отец Николай, не вписывается, но тот успел перебить её:

— Оставь своё “я” — вот что нужно. Какая польза, если весь мир приобретёшь, а душа так Бога и не встретит? Никакой. К Богу надо идти, к Богу, — и затих, словно достиг дневной нормы говорения...

— Как же идти, батюшка?

Вечером, после того как прочитали с мамой правило, Люба села на кровать, взяла учебник, раскрыла его и, уставившись в пол, вдруг подумала: “А хорошо ли ему там?”

17

На следующий день в школе говорили о дошедшей новости, а областную газету с заголовком на весь разворот “Мы теперь свободны” повесили в школьном вестибюле на самом видном месте. Из верхнего левого угла газеты улыбался Артём Андреевич. Возле газеты постоянно кто-то находился, и Любе никак не удавалось подойти и рассмотреть, чему так улыбался учитель истории. Ей казалось, что она обязательно выдаст себя, если будет долго смотреть на портрет, а тут ещё все взялись спрашивать: “Ты читала?” “Видала, как наш-то взлетел?!” Люба пожимала плечами и старалась делать равнодушный вид, а внутри всё горело. На перемене она спускалась в вестибюль, и опять кто-нибудь обязательно был возле газеты.

— Наворотят они теперь там, — это сказала, отходя от стенда, зашедшая в школу Анастасия Павловна. Люба услышала и поняла, что сказанное относилось к Артёму Андреевичу, и обиженно посмотрела на старенькую учительницу.

После уроков Люба задержалась в классе, но всё равно у газеты стояло несколько человек, это уже пришли сельчане, читали и удивлялись: никто не ожидал, что такой значительный человек целый год проходил у них в селе простым учителем. Люба медленно прошла мимо, улавливая обрывки фраз, какими перекидывались стоявшие у газеты мужики.

Вечером она не выдержала и пошла в школу.

— Ты чего? — спросила сторожиха, добрая и круглая баба Тоня, которая по совместительству была и уборщицей.

— Забыла тетрадку, а завтра контрольная, — сказала Люба.

— Да не расстраивайся так! Из-за какой-то тетрадки вон глаза на мокром месте. В какой тебе кабинет-то?

— Четырнадцатый, — выдавила Люба, потому что и в самом деле с трудом сдерживала подступивший комок: она уже увидела, что газеты на стенде не было. Поднявшись в кабинет истории, она села за учительский стол и зарыдала. Когда отдавала ключ, старалась не смотреть на бабу Тонию, но та спросила:

— Нашла?

Люба бросила взгляд в сторону, где раньше висела газета: нет, она не появилась. Люба покачала головой и пошла к выходу. За спиной ворчала баба Тоня:

— До чего детей доводят из-за какой-то тетрадки... Контрольная у них... Совсем детей измучили...

По дороге домой Люба вспоминала услышанные за день слова, реплики, обрывки разговоров, относящиеся к газете, и пыталась представить, что же всё-таки произошло. Получалось так, что в стране была какая-то замотня, и Артём Андреевич “активничал” на стороне новой власти. С такими же

“болторезами” он забаррикадировался на телевидении и не пустил туда милицию, благодаря чему телевидение передавало в эфир важные призывы из Москвы. В итоге верх оказался тех, кто забаррикадировался, и Артём Андреевич теперь среди главных борцов за свободу, и теперь то ли уже депутат, то ли чего похлеще — этого Люба не поняла, но не это было важно, не отпуская вопрос: “А хорошо ли ему?”

18

Люба не понимала, зачем она продолжает ходить в школу. Особенно досаждал английский. Чужие слова никак не желали входить в Любу. Что-то внутри отчаянно сопротивлялось их проникновению и отталкивало, как равнополюсный магнит. А может, дело было в учительнице английского, которая со своим выдающимся носом иногда представлялась настоящей ведьмой. Светлана Аркадьевна чувствовала эту неприязнь, и казалось, что, ставя двойки в Любин дневник, получает удовлетворение. Люба старалась терпеть. Она считала, что сама виновата, и очень переживала, когда Светлана Аркадьевна поворачивалась в профиль и образ ведьмы, как ни сопротивлялась Люба, всплывал в воображении. Отец Николай посоветовал в таких случаях читать короткую молитву. Люба пробовала всю зиму, а потом в слезах призналась отцу Николаю, что теперь она совсем не понимает: зачем ей этот английский?

— А учительница-то человеческого облика не теряет? — спросил отец Николай.

Люба покачала головой:

— Она даже спрашивать меня перестала, и всякий раз, когда я сижу на уроке, думаю: зачем?

Батюшка вздохнул:

— Действительно, зачем? — потом подумал и сказал: — Не знаю. Может, чтобы научиться в каждом видеть образ Божий, — и снова вздохнул: — Потерпи, немножко осталось.

Люба тогда не поняла, что значит “немножко”, и продолжала недоумевать, зачем ей не только английский, но синусы, косинусы, интегралы, химические формулы... Любимая некогда история, вернувшаяся под контроль Лидии Петровны, замкнулась в бессмысленном круге: народ требует царя, затем его отвергает, затем начинается разгул вседозволенности, и народ снова требует царя, и войны, войны, бесконечные войны... Бог в истории Лидии Ивановны отсутствовал, она стала примитивной и скучной. Угас интерес и к литературе: всё интересное, казалось, уже прочитано, и ничего добавить к этому нельзя.

К зиме прибавилось хлопот по хозяйству: расширили и утеплили сарай, и мама привела корову. На ферме совсем нечем стало кормить скотину, и её раздали сельчанам, остальную пустили под нож.

По весне Екатерине выделили большой участок земли за лесом. Там посадили картошку, ещё мама перенесла забор к самой дорожке, идущей вдоль оврага, и посаженный Любой зелёный, вымахавший уже по пояс росток оказался почти посередине раздвинувшегося огорода. И теперь совсем не оставалось времени побыть с ним. Надо было ходить на дальнее поле, заниматься огородом за домом, ухаживать за Чернушкой...

Вокруг же творилось невообразимое. Вслед за фермой закрылась МТС, что смогли, растащили по домам, остальное неприбранное ржавело, разбросанное за незапертыми воротами станции, да и утащенное тоже в основном ржавело, брошенное где-то на задах. Большинство мужиков впало в ступор, словно полуденный бес апатии и равнодушия одолел всех, и скоро мужики сами стали похожи на брошенные, никому не нужные железяки, ржавеющие по всему селу.

Формально Люба перешла в одиннадцатый класс, но осенью так и не пошла в него. Просто было не до этого: за работой школа и не вспомнилась. И, как ни странно, никто особо не настаивал, не напоминал. Раз Вера Звонарёва встретилась на улице и не столько спросила, сколько сказала об известном факте: “Ты совсем, что ли, школу бросила?” — “Некогда”, —

отозвалась Люба, и можно было подумать, что ей жаль, что она хотела бы ходить в школу, но вот — некогда. На самом деле Люба почувствовала себя неловко перед Верой. Получалось, что вот Люба вся в делах, а Вера вроде как ерундой занимается, и Люба спросила:

— А ты после школы куда?

Вера пожала плечами:

— В город. Тут делать нечего.

— Да, — обрадовалась Люба, — тебе надо обязательно продолжать учиться. Поступишь в институт, будешь учёной-преучёной, будешь к нам приезжать на роскошной машине и в клубе лекции читать.

Когда убрали картошку, наступили заморозки и выпал первый снег, идти в школу тем более показалось нелепым. Хотелось хоть немного перевести дух после напряжённых лета и осени. Да и действительно — зачем?

Зиму село переживало уже не в напряжённом ожидании, а с нескрываемым ощущением пришедшей беды.

Колхоз никак не мог продать пшеницу, и в итоге её стали чуть ли не задаром предлагать своим же, но и у людей денег не было, тогда её стали воровать. Начальство об этом, конечно же, знало, но никаких попыток прекратить воровство не предпринималось, выглядело вообще так, что начальство же и поощряет воровство, лишь бы добро не пропало. Разумеется, возможностей у начальства было больше, но никто это уже не называл воровством: люди уговорили себя, что они стараются спасти хоть что-то. К весне колхоза не стало. Да и сеять нечего. И некому. Когда земля обнажилась, готовая принять семя, люди смотрели на её раскрывшуюся черноту с виноватым недоумением, как смотрят на мир после глубокого запоя. Впрочем, из запоя выходить не собирались, потому что видеть и ощущать свою виноватость перед всем требующим ухода и труда миром невыносимо тяжело, и пили всякую дрянь, оставшуюся от МТС. Спирт “Рояль”, неведь откуда появившийся на селе, считался благородным напитком. Ощущение безнадеги придавило: мужики, в основном в самом расцвете сил, начали умирать. Умирили не столько от денатуры, “Рояля” или обострившихся болезней, которые лечить тоже стало некому и нечем, сколько от безысходности. Похороны стали привычным делом. Батюшка настолько измотался на отпеваниях, что после каждого подолгу лежал в своём домике с закрытыми глазами и сам становился похож на покойника, словно сам умирал с только что отпетым человеком и проходил с ним начальные мытарства. Матушка испуганно трогала его за плечо, отец Николай открывал глаза, говорил: “Сейчас, сейчас...” — поднимался и начинал бесцельно ходить по дому, натываясь на разные предметы. И это пугало матушку ещё больше.

У женщин воля к продолжению жизни крепче. Они пытались спасти ослабевших мужиков и разваливающееся село. Кто-то всё-таки засеял доставшиеся после распада колхоза участки сбережённым зерном, кто-то начал строить теплицы, кто-то, как только припекло солнышко, завозился на огородах. Но тягостный вопрос не заслоняла и отчаянная работа: что же теперь будет-то?

— Ничего, — утешал отец Николай. — Войну пережили и эту стершим.

— Тогда проще было, — возражали ему, — тогда враг был, а сейчас против кого?

— Против сил злобы, властей и начальства, — отвечал батюшка. И уверенно так отвечал, словно всю жизнь только этим и занимался.

Но жизнь и отца Николая достигла. Вернее, смерть. На Страстной, не дотянув чуть до Пасхи, ушла из жизни матушка Ксения.

19

Прошёл один из самых любимых праздников — Троица. После Духова дня многие остались помочь прибраться в храме: несмотря на понедельник, спешить всё равно было некуда, да и из храма расходиться не хотелось. Последнее время только здесь и мягчили сердца.

Открылась входная дверь, и, пройдя притвор, человек в чёрном вошёл в храм, снял чёрные очки. Тут все, находившиеся в храме, разом охнули. Это был Артём Андреевич. Он изменился: казалось, стал выше и увереннее, лицо словно высушило на долгом ветру, и выглядел он гораздо старше, это уже был не молодой человек, а определившийся мужчина. Войдя в церковь, бывший учитель истории растерялся: он никак не ожидал увидеть здесь столько народу. Правая рука потянулась вверх, но под направленными на него взглядами знамение получилось скомканным, будто он досадливо отмахнулся. Артём Андреевич сделал шаг, но нерешительно замер и теперь недоумённо смотрел на женщин, сдвинувшихся, словно прикрывая собой праздничную икону на аналое.

— Да это ведь наш учитель! — воскликнула Валентина, дочка которой Варя была на год младше Любы.

— Точно! — подтвердила баба Нина.

— Да какой ладный! — вставила ещё одна бабка.

И все сразу задвигались, засуетились, словно старались замять неловкую паузу. Артём Андреевич отмяк и заулыбался. Но только чуть поднимая губы, будто делал одолжение, и не чувствовалось в этой улыбке былой искренности, а ощущалась скорее неполнота. Он подошёл к аналою, широко и торжественно, словно на параде, перекрестился и надолго приложился к иконе, чем умилил многих. Затем уверенно, как своё, оглядел храм.

— Здравствуйте, Катерина Петровна, — сказал он стоявшей у клироса старосте.

Та слегка склонила голову.

— Вот видите... — Он развёл в стороны руки, и непонятно, что должна была видеть, кроме стоящих возле Артёма Андреевича старух, Катерина. Он сделал шаг и чуть тише произнёс: — Послушал вашего совета.

Та продолжала стоять у клироса, но в этой замёрзшей позе чувствовалось напряжение.

— Теперь вот так и живу. — Артём Андреевич сделал ещё шаг в сторону клироса и попробовал улыбнуться, но теперь совсем не получилось. — На машинах разъезжаю, костюм вот, галстук... — и прозвучало у него так, будто это Катерина виновата в этом галстуке и в костюме, и в машинах.

В двух шагах от клироса остановился.

— Слава Богу, — наконец ответила Катерина. — Каждому, сколько может понести.

— Да, — ещё тише согласился Артём Андреевич, и тут из-за перегородки, отгораживающей клирос, вышла Люба. — А вот и Любонька, — обрадовался бывший учитель, и его лицо наконец-то озарило подобие той прежней искренности, за которую его так любили ученики. — Здравствуйте! — он потянулся к ней, но наткнулся на взгляд Катерины и сник. — Что это у вас? — пробормотал он. — Трава? Господи, Троица же! Погодите, разве сейчас Троица? — он говорил как бы с самим собой, словно пытался вспомнить что-то, так, бывает, вспоминают детство, отыскивая в нём радостное и светлое, что не могло бесследно исчезнуть, несмотря на довлеющую взрослую жизнь. — Когда же была Троица? — спросил он и посмотрел на Любу, как будто именно она должна помочь ему вспомнить.

— В воскресенье, — ответила Люба. И пояснила: — А теперь после Духова дня прибираем.

— Да, конечно... — так же растерянно пробормотал Артём Андреевич. — Как хорошо у вас пахнет... Я помню, — и тут, словно и правда вспомнил дорогое, глаза его блеснули, он всё-таки шагнул к Любе, но тут же услышал:

— Артём Андреевич, а вы по какому делу к нам? — Катерина продолжала строго смотреть на бывшего учителя, и голос её был такой же строгий и ограждающий.

— Да! Конечно! — Он хлопнул себя по голове, и блеснувшая было радость исчезла, как вспугнутый зверёк. — Я, собственно, к отцу Николаю заехал. Мне очень нужно с ним поговорить.

— Батюшку лучше не беспокоить, — холодно ответила Катерина. — Он очень уставать стал. Не тревожьте его.

— Как же? — удивился Артём Андреевич, и в его голосе послышались нотки обиженного человека, отвыкшего от отказов. — Я специально заехал. Мне очень нужно ему сказать... — он осёкся, будто только что не проговорился. — Это очень важно для меня.

— Ты нам лучше скажи, что это за жизнь такая пошла: скоро, как в войну, лебеду есть будем! — донеслось от стоявших у аналоя женщин.

— Надо немного потерпеть. Скоро всё наладится, — как отмахнулся, произнёс бывший учитель.

И лучше бы он этого не говорил: несколько женщин тут же превратились в толпу, безошибочно угадавшую в нём представителя власти, который к тому же оказался на территории, где народ чувствовал себя хозяином. И началось! Заговорили все разом. А некоторые заголосили, срываясь на крик. Осмелевшие старухи хватили Артёма Андреевича за руки и тянули в разные стороны, тот отбивался, пытался что-то отвечать, но каждый банальный и невнятный ответ только больше разжигал толпу. Артём Андреевич стал пробираться к выходу, но его не пускали, и неизвестно, во что всё это обернулось, если бы не раздалось властно:

— Это что такое?! — И все увидели в дверях отца Николая; всклокоченный, он грозно смотрел на распалившийся народ. — Я спрашиваю: что вы тут устроили?

— Так вот, — сникшая толпа расступилась, обнажая Артемия Андреевича, будто это он является зачинщиком.

— Его я вижу, — ответил отец Николай. — А вы-то что?

Все стояли, опустив головы.

— Эх... — И столько было в этом “эх” боли и скорби, что головы опустились ещё ниже, а кто-то и перекрестился... — ...?род неверный и лукавый, доколе мне терпеть вас... Ну, раб Божий Артемий, пойдём, расскажешь, как до жизни такой докатился... Аж вон старухи на тебя кидаются...

20

Чёрная машина минут через сорок отъехала от храма. Люба вышла на улицу: всё в мире было тихо и спокойно. Забравшееся на самую верхотуру солнце ленивило мир, и казалось, что могло произойти в растекающейся приятной дрёме? Чуть освежал ветерок, и в шуршании листьев уже слышалась осенняя жёсткость, но это пока так хорошо... мирно...

Что это было? Машина? Вдруг обезумевшие люди? Растерянный Артём Андреевич? Было ли? Но вот же примятая чужими колёсами трава, вот на песчаной дороге чёткие следы шин... Скоро трава распрямится, дожди замочат след на дороге... А царапина внутри останется.

И как он её назвал — Любонька!

Люба отвернулась от дороги и пошла к дому священника, вошла в калитку и увидела на лавочке под навесом отца Николая. Казалось, он дремал: руки свесились, словно после тяжёлой утомительной работы, затылок опирался на стену дома, и ветерок тихонько шевелил седые пряди волос. “Как он постарел”, — вдруг пронеслось в голове, и она тихонько, стараясь не потревожить батюшку, прошла в дом.

Когда минут через пять она так же тихо спустилась с крыльца, батюшка окликнул её.

— Что, Люба, как дальше-то жить будем?

И Люба опять удивилась: только что она видела уставшего старика, а вот перед ней тот же добродушный ласковый батюшка. Может, опять привиделось?

— Да как жили, так и будем, — ответила она.

— Да-а, — протянул батюшка, — это хорошо бы... Только, кажется мне, что “как жили” уже не получится.

— Почему?

— Своим умом хотят жить. А это значит “я”, всё “я”, а Бог у них вроде доброго дядюшки... который помер.

— Господи, что ж вы такое говорите?

— Да это не я... Пушкина-то читала? “Мой дядя самых честных правил...” Как там дальше-то?

— “Когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог”, — машинально продолжила Люба.

— Вот-вот. И они так считают: Бог, мол, оставил нам наследство, и живите дальше по вашему разумению. А Бог-то никуда не уходил. Нда, тяжело Тёмке-то придётся.

— Кому? — не поняла Люба.

— Да учителю твоему. Сколько ни прикрывайся благами намерениями, а всё одно: “мы наш, мы новый мир построим...” А мир-то как был один, так и остался, ибо строитель у него один — Бог, а остальные перестройщики — ни основания, ни замысла, одно яканье. А у Бога своя математика: там, где у человека дважды два четыре, у Бога может быть пять. Или два. Или восемь. Им хочется, чтобы всё понятно было, а как же без Бога понимать-то? Ничего у них не выйдет, у идейных-то, опять всё другие приберут, а народ страдай и расплачивайся. Только взбаламутили опять.

Люба молчала.

21

После Петра и Павла отец Николай всё дольше задерживался на лавочке перед домом. Дни стояли хорошие. Небо чисто, и видно далеко-далеко. Люба обратила внимание, что глаза у отца Николая такие же чистые и далёкие. И подивилась, что раньше этого не замечала. А отец Николай со своей лавочки сказал:

— Чувствуешь, Любонька, осень...

— Какая же осень, батюшка? — не поняла Люба. — Июль же...

— Осень... — отозвался отец Николай. — Осень начинается в июле...

Люба замерла и тоже стала смотреть вдаль, не зная, что она может или хочет там увидеть, и вдруг щёку царапнуло. Она отмахнулась и увидела, что это упавший с берёзы лист, края которого были жёлты, слегка подогнулись и затвердели, и лист стал похож на маленькую лодочку.

— Как хорошо, — сказал отец Николай и прикрыл глаза.

После кончины матушки Ксении Люба часто стала заходить к отцу Николаю и прибираться в доме, хотя особых хлопот не было: отец Николай, казалось, не прикасался к вещам, даже постель за ним оставалась непримятой, словно тело его обрело невесомость. Еда, которую готовила Люба, оставалась почти нетронутой, будто батюшка ел не потому, что надо есть всякому человеку, а из уважения к Любиным стараниям. Приборка в доме времени занимала немного, а потом Люба присаживалась рядом с батюшкой и пыталась рассмотреть невидимое.

Когда она ложилась спать, думала о том, что окружает Артёма Андреевича, видела здания, город, незнакомых людей, перед которыми говорил учитель истории, людей было много, и все они сливались в страшную гримасу, которая хохотала над Артёмом Андреевичем. Однажды он куда-то летел, и Люба тоже летела. Рядом, но чуть отстранённо. Впрочем, она тоже видела землю, расчерченную на ровные жёлто-зелёно-коричневые прямоугольники, которые пересекались голубыми жилками рек и серыми пятнами городов. Она удивилась, что так всё хорошо видит, потому что раньше никогда не летала. И тут же увидела себя, такую маленькую в убогом домишке — и стало жаль себя, а потом она подумала, что её печали и радости так малы в сравнении с теми, кто живёт в больших городах и думает, что делает большое и справедливое дело. Или вот летящих в самолёте... Куда они летят? И Любе вдруг стало нестерпимо жаль всех-всех-всех, что у них нет тех малых печалей и радостей, которые есть у Любы, а только заботы о делах, кажущихся необходимыми. Особенно почему-то жаль стало летящий самолёт, и она заплакала. “Глупые, глупые люди, — сквозь слёзы прошептала она

и тут же вздохнула: — Пусть живут, Господи, они тоже поймут...” И самолёт продолжал лететь.

22

Приближался Успенский пост. Дни продолжали стоять добрые, несмотря ни на что, началась уборка хлеба. Село опустело, и тем нелепее выглядел человек, встреченный Любой у калитки отца Николая. Он нерешительно поглядывал в сторону дома, видневшегося сквозь густые вишни, а Любе показалось, что он думает: сорвать вишенку или нет? Подле человека лежал огромный зелёный рюкзак, похожий на сдувшийся мяч, сам же человек был огромного роста, на нём были высокие армейские ботинки, просторные штаны с накладными карманами, рубаха навывпуск с заметной на спине тёмной дорожкой от пота, вылинявшая панاما, солнцезащитные очки и густая, со спутавшимися книзу завиточками борода. Повидавший виды мог бы принять явившегося человека за отставного спецназовца, странствующего хищника или новоиспечённого бомжа. Люба же ничего подобного из вышеперечисленного не встречала и потому сразу решила, что это священник. Подошла и сказала:

— Благословите, батюшка.

Человек так обрадовался, что даже заурчал, словно довольный жизнью кот. Не переставая улыбаться, он сложил пальцы и благословил, отдельно и радостно произнося:

— Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

И каждое слово у него получалось, как подарок, и огромная рука, когда она коснулась Любиной головы, оказалась неожиданно мягкой. Человек снял очки, и Люба увидела светлые глаза, почти такие же, как у отца Николая, только, пожалуй, без той осенней прозрачности, которую Люба стала подмечать в последнее время. А человек и правда, словно получив долгожданную подмогу, повёл себя увереннее.

— Я протоиерея Николая Богомолова ищу, — отрекомендовался он.

А Любе то ли от вида этого стеснительного великана, то ли от чуть ли не торжественного благословения стало легко и весело, и она, сама не понимая почему, ответила:

— А он вас давно ждёт, — и улыбнулась, заметив, как удивился великан. — Идёмте, — и ей опять понравилось, как великан послушно последовал за ней.

Отец Николай стоял возле своей скамеечки, опершись на посох, и взгляд его был обращён не к небу, а на входящих. Люба подошла к нему и представила, словно они с ним давно уже обо всём переговорили и обсудили:

— Вот, — и отступила, открывая следовавшего за ней батюшку.

Великан опустился на колени, сравнявшись головой с плечами отца Николая, и нагнул голову. Отец Николай благословил, посмотрел всё-таки на небо, а когда опустил глаза, они были влажны и алмазно поблескивали.

— Давай уж поцелуемся, — произнёс он подрагивающим голосом, обнял и троекратно поцеловал стоящего на коленях великана. — Как звать-то тебя?

— Василий, — ответил великан.

— Царское имя, — одобрил отец Николай. — Ну, вставай, Вася, пойдём чай пить.

И так умилительно прозвучало это “Вася” по отношению к небывало огромному человеку, что Люба невольно рассмеялась. Отец Николай обернулся на неё и, сдвинув брови, погрозил пальцем. Только Люба видела, что глаза его продолжали поблёскивать драгоценными камешками.

Шагнув к дому, отец Николай вдруг спохватился:

— А что же ты, Ва... отец Василий, один, что ли?

Отец Василий развёл руки в стороны: в одной был тощий рюкзак, в другой — гнутая панاما.

— Как же так? — несколько растерянно произнёс отец Николай.

— Так вот, — отец Василий снова развёл руки: мол, вот он я весь.

Отец Николай покачал головой.

— Это же не... — но не договорил и махнул рукой: — Ладно, потом расскажешь, а пока пойдём, отдохнёшь с дорожки.

Он пропустил отца Василия в дом и, обернувшись, снова погрозил Любе пальцем. А чего погрозил, Люба так и не поняла: сейчас-то она и не смеялась вовсе.

23

Вечером отслужили вечерню с акафистом, а на следующий день храм был почти полон, что в летнее время случалось только по большим праздникам, но тут всем хотелось посмотреть на нового батюшку, к тому же слухи про его выдающиеся размеры добавляли любопытства. Голос у него оказался густой, но не громкий. Двигался он аккуратно, словно боялся что-нибудь задеть и порушить. В общем, новый батюшка понравился, только сама служба затянулась, и до креста дотерпели не все. А зря. Прежде целования креста на амвон вышел отец Николай, и оставшиеся в храме ахнули: в лучах утреннего солнца батюшка сиял.

— Дорогие прихожане, братья, сёстры, — произнёс он слегка надтреснутым голосом, затем оглядел всех, и его ласковый взгляд касался каждого. Установилась редкая тишина. — Вот что я вам хотел сказать... — начал тихо батюшка, показалось, что и дышать все перестали. — Я хотел сказать главное... — батюшка замолк, словно раздумывая, говорить или нет, а если говорить, то как, чтобы дошло до каждого. Он вздохнул: — Жизнь бесконечна, — и снова замолчал, будто сам удивился, что так просто и в двух словах получилось сказать то, что переживалось и укладывалось в душе долгие годы. Дальше он говорил медленно, словно каждая фраза давалась ему тяжело: — Все мы надеемся попасть в Царствие Небесное. Потому что православные. В церковь вот ходим. Заповеди стараемся соблюдать. Не всегда получается, но стараемся. А я вам скажу: не надейтесь. Перестаньте думать, что вот я сделаю хорошее дело... водой кого-нибудь напою — и сразу в рай. Это больше на торговлю похоже. К которой нас всех приучить стараются. Умоляю вас, не поддавайтесь. Да, будет трудно. Но Богом не торгуйте. Всё, что вы делаете, делайте по любви. Не считайте: а что мне за это будет? Не ждите наград. Не ждите Царствия Небесного. Делайте всё по любви. В этом и есть существо человека. Именно поэтому человек и образ Божий. Не потому, что у человека руки-ноги есть, не в этом образ. А в любви. Только тогда человек есть образ Божий. Бог ведь и создал нас по любви. И ждёт от нас не добрых дел, а ответной любви. Вы же хотите, чтобы ваши дети любили вас. Дела потом, все заботы, воды принести, дров наколоть, в школу сходить — всё это не столь важно, была бы любовь. А я вам скажу: если любят, то и дров наколот, и пятёрку из школы принесут. Так и Господь. Он любви ждёт, а всё остальное приложится. Любовь всё покрывает. Вот это и прошу помнить. Так. А теперь вот что. Вот Бог послал нам Своего ангела. Отец Василий, иди сюда. Видите, какой молодец! Любите его. Любите, как меня любили. И больше любите. Любите как посланника Божия. А ты, отец Василий, соответствуй. Ты Божий посланник, заботься об овцах, как пастырь добрый. Предстояй за них пред Богом. Вот так если будете в любви пребывать, то и Бог любящих не оставит. Благодарю Господа, что Он дал мне время побыть с вами. Мы вместе молились, вместе трудились, вместе плакали и радовались на этой земле. Быть вместе, во взаимной любви — это и есть настоящее счастье. Простите меня, если обидел кого словом, делом, ведением или неведением, — и отец Николай опустил на колени.

В храме зашелестело:

— Бог простит. Нас простите, — люди тоже становились на колени, у многих на лице засверкали слёзы.

— Бог простит, — ответил отец Николай и поклонился. Потом бросил взгляд в сторону отца Василия, тот догадливо протянул руку и помог подняться. — Скажи что-нибудь людям, — шепнул отец Николай, но все услышали.

Отец Николай передал отцу Василию блеснувший на солнце крест. Тот принял его, кашлянул и, видно было, смутился, но все уже ждали, и новый батюшка выстушил к краю амвона.

— Говорить-то я особо не умею, — и он снова прокашлялся. — Особоенно как отец Николай. Для этого жизнь прожить надо. Я не в том смысле, что она уже кончилась. Но мудрость приходит с годами. Мне ещё учиться надо, — вдруг смущённое лицо его засияло, словно счастливая мысль озарила его. — Вот вы мне и поможете. И дальше вместе учиться будем. И, как сказал отец Николай, в первую очередь, любви. Вот, — он радостно выдохнул, будто только что ответил сложный урок. — Бог в помощь, — и он широко осенил всех сияющим крестом. — Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже!

Стали подходить к кресту, а потом к отцу Николаю, который благословлял и троекратно целовался, и каждому что-то тихонько говорил.

Когда в храме уже почти никого не осталось, отец Николай качнулся и ухватился за рукав одеяния отца Василия. Тот подхватил отца Николая и подвёл к лавочке на клиросе.

— Устал я, Вася, — слабо произнёс отец Николай, опускаясь на лавочку. — Совсем устал.

— Понятно, долгая служба получилась, народу-то было, и каждый к вам...

— Не в этом дело. — Отец Николай покачал головой. — Не в этом...

24

Вечером отец Николай пришёл к Любаевым. Появился он так тихо, что и Катерина, и Люба удивлённо подняли головы, когда раскрылась входная дверь.

— Здравствуйте, милые, — проговорил отец Николай и, опершись на посошок, замер, то ли собираясь с силами, то ли подбирая слова.

Катерина и Люба подошли под благословение. Рука старика потянулась вверх и легко коснулась склонённых голов.

— Проходите, батюшка, — пригласила Катерина.

— Мне бы, Катерина, — матушкой твоей поговорить, — ответил отец Николай. — Как в её опочивальню-то пройти?

Катерина удивилась ещё больше и долго посмотрела на отца Николая большими глазами. Потом показала на дверь в коридор:

— Пожалуйста.

— Я уж запоматывал, — признался старик. — Ты проводи меня.

Скоро Катерина вернулась. Снова села за вязанье, но рука с крючком так и не принялась за работу, а опустилась на колени, и заметно было, как указательный палец, лежащий на спице, слегка подрагивает.

Стало слышно тиканье часов, брёх собак на улице, откуда-то возвращаясь, тархтел трактор. И тут раздался то ли крик, то ли стон, то ли это был стон, переходящий в крик, то ли наоборот — дочь и мать быстро взглянули друг на друга, но никто не двинулся с места. У Катерины перестал подрагивать палец, теперь она крепко сжимала рукою бедро. Так прошло некоторое время, и снова стало слышно тракторок, собак, часы... Наконец появился отец Николай. Выглядел он озадаченно. Похлопав рукой о посох, вздохнул:

— Ничему-то я не научился... Ты прости меня, Катерина... За всё прости...

Катерина поднялась, с опущенной головой подошла к отцу Николаю и упала перед ним, обхватив колени. Слышно было, как она плачет. Никогда Люба не видела, чтобы мама плакала.

— Ну, что ты, что ты... — отец Николай снял руку с посоха и гладил Катерину по голове. — Тут ведь всем уж недолго осталось. Скоро встретимся. Господь пусть судит. А ты прости... Это главное. Меня прости. Мать прости...

Катерина поднялась, отступила на шаг и земно поклонилась.

— Бог простит. И меня простите.

— Бог простит, — ответил отец Николай и перекрестил Катерину.

Постоял ещё немного.

— Пойду я. Завтра Ильюша обещал машину прислать. Буду у него в монастыре дожидать. Такое вот мне утешение...

— Помочь, батюшка? Собираться-то...

— Не-е... — отмахнулся отец Николай. — Чего мне там собирать? Вася помогает. Я ему всё оставлю, чего мне в монастыре надо-то? Разве если чего на память... для Ильюши... Не надо... Пойду я...

И он так же тихо, как появился, ушёл. Катерина вернулась к вязанью, и Люба увидела совершенно спокойное лицо, на котором не было ни слезинки. И указательный палец теперь исправно делал свою работу, поддевая крючок под нить.

25

На следующее утро после отъезда отца Николая, только прочитали утреннее правило и собирались завтракать, как из пристроя ясно послышалось: “Атя! Атя!”

Катерина метнулась в пристрой.

Люба замерла, но разбирала только отдельные вскрики, затем закрыла глаза и начала быстро повторять налетевшее: “Господи, помилуй! Господи, помилуй!” — и при этом так сжимала кулаки, что на глазах выступили слёзы. Кого она хотела, чтобы помиловал Господь, она не смогла бы объяснить: ни конкретно о бабушке, ни о маме, ни о себе она в эту минуту не думала — это нашло разом, и она пребывала в иступлённом состоянии. Через некоторое время стало отпускать, она разжала кулаки, вытерла слёзы и открыла глаза. На пороге стояла мама с таким же, как несколько дней назад у отца Николая, растерянным лицом.

Люба встала, подошла к матери и легонько прислонилась к её плечу, та обняла её.

— В это трудно поверить... — сказала она.

— Что? — спросила дочь.

И после долгой паузы Катерина ответила:

— Мне кажется, она считает, что победила.

— Кого? — удивилась Люба.

— Всех, — мать убрала руку с плеча дочери и шагнула в дом. — Оказывается, всё это время она была на войне. Она сражалась...

— Против кого...

Катерина только покачала головой...

Действительно, когда через два дня Елену Петровну хоронили, вид у усопшего и вымороченного тельца был гордый и уверенный, словно его собирались нести не на кладбище, а вручали очередную профсоюзную грамоту.

Елена Петровна была крещена, и отец Василий служил панихиду. При этом нечто похожее на любопытство не сходило с его лица, он спохватывался, прятал это любопытство, но оно снова проступало то в голосе, то в наклонах тела, словно он с разных ракурсов пытался разглядеть усопшую. Но, пожалуй, только Люба и заметила это. Ей нравился новый батюшка, наверное, как раз своим неумением скрывать чувства и тем, что они всегда прорывались, как это бывает разве что у детей.

26

Успенский пост самый строгий, но он же и самый праздничный, только успевай радоваться: тут тебе и медовый спас, и ореховый, и яблочный. И каждый со своим запахом, вкусом, приготовлением. И храм всегда полон — хорошо! И дни стояли тихие, солнечные. Брызнул несколько раз дождик, так и то в радость. Радуга была.

А Люба переживала: как так, бабушка умерла, а она радуется? Неужели такая лёгкость от того, что бабушка освободила их от забот о себе? И она испугалась мысли, что радуется смерти бабушки. Впрочем, хлопот бабушка

доставляла немного: накормить да прибрать за старушкой времени много не занимало. Но ведь и печали о её смерти не было. Не было ни скорби, ни плача, ни в конце концов ощущения утраты, какие должны быть, когда уходит навсегда родной человек. Когда умерла матушка Ксения, Люба переживала куда больше, а тут... Почему родной человек перестал быть родным? А человек вроде бы не родной становится близок и дорог...

Она спросила об этом отца Василия.

— Тут как сказать, — он задумался. — Наверное, родство у нас по Христу определяется, так вроде... Мы во Христе братья и сестры, а без Него так... сами себе товарищи...

— Так она ведь крещёная была, вы же отпевали её.

— Вот Господь и определит, кто какой ему родственник.

— И... как же Он определять будет...

— Этого я сказать не могу. Думаю, молиться надо. Только с чувством, то есть честно. Тогда Господь услышит: ага, мол, молятся за неё, стало быть, свои, а если никто поминать не будет, то откуда ж и знать.

Молитвенное правило у Любы прибавилось. И она старалась исполнять его, как говорил батюшка, честно.

27

После сороковин Катерина решительно взялась разбирать пристрой. Говорила, что во дворе просторнее станет, но Люба догадывалась, что эта клетушка сидит занозой в мамином сердце и ей хочется вырвать её или по крайней мере не видеть каждый раз, когда выходишь во двор. Пришли двое мужиков и за литр водки всё разломали. Потом приехал на тракторе дядя Паша, сзади трактора подпрыгивал и брякал, как молодой козлик на привязи, расхлябанный прицеп. Сначала дядя Паша отобрал всё более-менее годное: кровать, стул, столик, а во второй заход уже в прицеп закидали обломки и ни на что не годную рухлядь. Катерина следила, чтобы в прицеп погрузили всё до единой щепки.

— Может, на дрова оставишь? — предложил один из мужиков, кивая на груды деревянного мусора.

— Не надо мне, — ответила Катерина и сама стала стаскивать к прицепу обломки.

— Да сложим мы, — отозвался второй.

Гружённый трактор, отъезжая, уже не напоминал своим дребезжанием козлика, скорее он стал похож на странный и ужасный этой странностью катафалк, полный перестукивающихся костей.

Катерина, даже не взглянув на освободившееся во дворе место, прошла в дом и, опустившись на кровать, долго просидела, прислонившись к стене, а потом открыла глаза и устало произнесла:

— Вот и всё...

Люба подошла к матери.

— Ты бы прилегла, — сказала она, глядя в отрешённое лицо.

— Надорвалась я...

И так безразлично прозвучали эти слова, что Люба испугалась. Она опустилась на колени и обняла маму. Та положила руку на её голову, но тоже отрешённо, словно ничего уже не имело никакого значения. Они замерли на несколько минут, но вот рука дрогнула и стала легонько перебирать волосы на Любиной голове, и Люба облегчённо вздохнула.

— Ты вот что, дочка, — привычным уверенным голосом произнесла Катерина, — не ходи больше к отцу Василию...

Люба удивлённо приподняла голову: она, уже привыкнув прибираться в церковном домике, когда там жил отец Николай, и после его отъезда продолжала заходить и наводить порядок, тем более что при отце Василии, который так же не придавал особого значения бытовым условиям, но был куда более жизнеактивен и беспокоен, дом требовал ухода. Отец Василий поначалу сопротивлялся Любиным посещениям, а затем стал просто уходить из дома, и она спокойна наводила порядок. Со временем она заметила, что отец

Василий становится внимательнее и старается не допускать беспорядка. По крайней мере, посуду он стал мыть сразу после еды, и одежда не была разбросана по разным углам, как это случилось в первые дни.

— Не ходи, — повторила Катерина. — Нехорошо это.

— Мама, ты что? Ты что... подумала?... Я же... Он же... Он ничего в доме не знает и не умеет ничего. Он там кастрюлю найти не может.

— Я знаю. Он же хороший?

— Хороший, — подтвердила Люба и добавила: — Очень хороший, — и совсем неожиданно, как это у неё случилось, вылетело: — Он как ребёночек...

— Как — кто?

— Ну, я не то хотела сказать, — Люба смутилась и поспешила объяснить: — Ему всё интересно, он всему удивляется и радуется, а о себе совсем не думает, поэтому дома у него беспорядок. А так он очень увлечённый человек.

— Вот-вот, увлечённый... А увлекаться ему нельзя.

— Почему?

— Потому что у него есть жена. И есть ребёнок. И когда-нибудь они всё равно сюда приедут, понимаешь?

Люба не обращала внимание на то, о чём нет-нет да и слышала от бабки возле церкви, досужие разговоры ей были неинтересны, и она никак не предполагала, что о семье отца Василия заговорит мать, тем более никак не могла взять в толк, при чём здесь она, Люба.

— Ну и что, пусть приезжают, я-то что...

— Приедут. А тут молодая девка полы намывает.

— Так что ж теперь, пусть полы грязные будут? — Люба никак не понимала, чего от неё хочет мама.

— При чём тут полы! — Катерина убрала руку с головы дочери. — Ладно, не понимаешь — твоё счастье. Но в дом к нему ходить я тебе запрещаю.

— Может, мне и в церковь тогда не ходить! — вырвалось у Любы.

— В церковь ходи, а на батюшку не пялься.

— Мама! — в отчаянье вскрикнула Люба, ей показалось, что мама пытается приписать ей что-то немислимое и преступное.

— Ну-ну, перестань. — Катерина снова положила руку на голову дочери, пригнула её к своим коленям и стала тихонько поглаживать. — Ты же не видишь, а я вижу.

— И что ты видишь? — глухо спросила Люба.

— Как он на тебя смотрит.

И тут до Любы дошло. Она оторвалась от матери и поднялась.

— Зря ты мне это сказала, — неожиданно твёрдым голосом, очень похожим на голос Катерины, сказала она.

— Да, — согласилась мать. — Наверное, зря.

28

Любу по вечерам выручали книги. Катерина пыталась вязать, но было видно, что вяжет она скорее по привычке, чем по необходимости. Руки её всё чаще замирали, опускались на колени, и она могла так долго сидеть, уставившись в одну точку. Потом снова начинала шевелить руками. В доме сделалось тихо и уныло.

Звуки из внешнего мира если и долетали, то вязли в холодной тишине, как в вате, и пропадали. Вот хлопнула калитка. Вот скрипнуло крыльцо. Что-то хрустнуло. Стук в дверь. После паузы стук повторился. Люба с Катериной посмотрели друг на друга. Удивились. Посмотрели на дверь и снова друг на друга.

— Хозяева, — распевно донеслось из-за двери.

— Это батюшка, — узнала Люба и соскользнула с кровати.

Отец Василий вошёл большой, радостный, с цветным пакетом в руках, больше похожий на Деда Мороза, и тишина, поглотившая дом, сжалась до не приметного насекомого и спряталась в угол.

— А я вот думаю, дай зайду, а то что-то не виделись давно... Чего-то там на крыльце... хрустнуло... Темно, я-то с непривычки... Ну, завтра при свете поглядим, чего там... — пока он так, сбиваясь, говорил, к нему подошли, благословились, предложили сесть.

Батюшка присел и постарался принять серьёзный вид, даже пару раз кашлянул.

— Екатерина Петровна, вы, говорят, прихварываете, — и тут же развёл руки в стороны, потеряв всякую серьёзность. — Как же так, матушка? Вы это дело бросьте. Без вас у нас... гм... сами знаете, как... В общем-то — никак. Люба вот тоже перестала заходить, а я без неё ничего не знаю, где что... Вы уж меня не бросайте, а то тут и так... никак... — отец Василий замолчал, главное-то было уже, видимо, высказано. — Вот из Семёновки еду, — сообщил он. — Пирогов надавали, думаю, надо зайти, а то что-то... давно уж не видела... Пироги-то хорошие, к чаю как раз, — и он протянул Любе пакет. Та глянула на мать и стала накрывать на стол: появились чашки, разрезанные пироги, зашумел чайник. — Вот, — обрадовался батюшка и перекрестил стол. Был он в добром расположении, всё ещё немного смущаясь, продолжал говорить, как если бы кто-то заговорил другой, то всё могло испортиться. — А в Семёновку я на отпевание ездил, — доверительно сообщил он. — Оттуда и пироги... Сейчас езжу и езжу по деревням-то. Мрёт народ, — в его голосе скользнула грустинка. — И в основном мужики. И не старые в основном-то... До пятидесяти. Вот и сегодня... — батюшка отхлебнул горячего чаю, и это его расслабило, будто вместо чаю он хлебнул чего крепкого. — Эх, жить бы да жить, а чего помер? Никто объяснить не может. Остановилось сердце, и всё тут. А чего остановилось... Берите пироги-то, хорошие пироги. Как? Вкусные? Вот, а я что говорю: пироги чудесные... Пироги... вот только пироги и остались. Поминаем раба Божия Владимира. Говорят, такого поветрия не было. Как мор какой напал. И именно на мужиков. Почему? Мне там один дед за столом сказал: исход народа начался. Мудрый дед-то. Исход. Вот ведь... Пьют всякую дрянь, — при этом лицо его скривилось, словно он сам только что ту дрянь пил. — А отчего пьют? Цели нет. Некуда стремиться. Как же без Бога тяжело людям. А так нет ничего — и не надо ничего, — тут отец Василий задумался и, кажется, снова загрустил. — Эх, жить бы да жить... — и спохватился: — Ну, а вы-то как? Екатерина Петровна? Что у вас? А то ведь тоже наговорят всякого, а я волнуясь... Вы это, давайте... бросьте хворать-то...

Екатерина пожала плечами.

— Сама не знаю. Слабнуть стала. Может, и правда поветрие, а может, и дед семёновский прав — исход. Собирает Господь всех, кто тут не у дел остался. Скучно тут стало.

— Вот этого, матушка, не надо! Как же скучно? Дел-то полно!

— Да каких дел! — Екатерина махнула рукой. — Колхоз развалился, ферму закрыли, завод свекольный встал, что там ещё... Маслобойка чудом трепыхается, да мастерские шабашат, и то скоро нечего ремонтировать будет. Незачем людям стало тут жить — вот и уходят.

Отец Василий крутил чашку, словно пустой стакан, надо изречь нечто вдохновляющее, но слишком уж понятно объяснила Катерина, да и больше заставили замолчать не сказанные слова — равнодушие и безучастность к окружающему, сквозящие в них, и даже не в словах, а в голосе, которым говорила Катерина. И говорила Катерина будто не о себе, не об односельчанах, а о чужих людях.

— Налить ещё? — спросила Люба.

Отец Василий понимал, что ответ надо искать в Боге, но как это выразить, чтобы слова его не показались обычной формальностью: мол, молитесь, ходите в церковь и так далее — не знал. Или пока не умел.

— Не знаю, — произнёс он.

Люба не поняла, относится это к предложенному чаю, потому что отец Василий продолжал крутить чашку, или к чему-то другому, и замерла с чайником.

— Отец Василий, а может, чего покрепче, — предложила Катерина. — Помянем человека-то. И я с вами рюмочку выпью.

— А давайте, — согласился отец Василий, и стало легче, будто разом смахнул безответные мысли, как крошки со стола.

— Люб, достань там, из серванта.

Люба поставила на стол почти полную бутылку водки, заткнутую деревянной пробкой, и две рюмки. Отец Василий ловко, со чпоком, выдернул пробку и налил себе и Катерине.

— Помянем раба Божия Владимира, — нараспев произнёс он и разом выпил.

Катерина пригубила. Отец Василий занялся пирогом.

— Отец Василий, — начала Катерина, — а скажите, ваши-то когда приехать собираются?

— Какие наши? — не понял отец Василий.

— Ваши... жена, дочь...

— А-а... — протянул отец Василий, будто ему напомнили о подзабытой оплате за квартиру. — Да Бог их знает.

Налил себе ещё рюмку.

— Я, с вашего позволения, ещё выпью. Трудноватый день был нынче. Всё равно после похорон чувствуешь себя неприятно, будто виноват... А в чём виноват: думаешь, думаешь и только хуже становится, — он выпил и пирог трогать не стал. — Людей жалко. И даже порой не столько тех, кто умер, сколько тех, кто остался. Смотришь на них, и жалко...

— А чего же они не едут? — снова спросила Катерина.

— Кто? — опять не понял отец Василий.

— Ну, ваши...

— А-а... Не поймёшь их, этих... не знаю... — отец Василий поморщился, словно от боли, и прямо посмотрел на Катерину: — Вот скажите мне...

Катерина подняла руку, и отец Василий осёкся и даже оглянулся.

— Дочь, сходи посмотри, что там с курами.

Люба поднялась, накинула на плечи куртку и вышла во двор. Был виден яркий покачивающийся фонарь возле церкви, а дальше темнота. Люба представила, как виден этот фонарь сверху, а вокруг него маленькие бледные точки — свет из окошек домов. “Как луна со звёздами, — подумала Люба. — Это всего лишь отражение неба. А так темно, — Люба поёжилась. — И ветер”.

Она стала спускаться с крыльца и чуть не упала: привычно хотела положить руку на перила, а та вдруг провалилась в пустоту. “Сломались перила, — поняла она. — Это, наверное, когда батюшка поднимался. Хрустнуло ведь что-то. Старое всё. Теперь новые ставить надо. А как же старое? Сломалось, и выкинули. А зачем новое? Тоже сломается. Тоже выкинут. Как холодно... Ещё зима не наступила, а уже так хочется тепла. А кажется, что не будет ни тепла, ни весны, такой ветер, такая тьма... Вот человек придумал фонарь, а как чтобы всем тепло было, придумать не может”.

За дверью послышался шум, что-то глухо упало, дверь распахнулась, и появился отец Василий.

— Да что же это такое... — бормотал он, потом заметил Любу, остановился и сказал: — А всё потому, что у кого-то слишком узкие двери.

Люба хотела улыбнуться, но не смогла, подвинулась на крыльце, пропускающая батюшку. Тот шагнул, тоже хотел опереться на перила, и тоже рука провалилась, и он, большой и грузный, ухнул вниз. От полного падения его спас столбик, поддерживающий крышу над крыльцом.

— Да что же это такое! — теперь уже возопил отец Василий. Оправился, пару раз махнул по рясе, словно стряхивал грязь, и обернулся к Любе. — Ох, и строга у вас матушка, ох, строга, — повернулся и пошёл к калитке.

Уже с дороги донеслось:

— Да что же... — видимо, отец Василий, продвигаясь во тьме, вступил в ненадлежащее место.

Но Любе всё слышалось “у вас матушка”: раньше он всегда обращался к ней на “ты”.

После обеда пришли дядя Фёдор и Петя, молодой парень, недавно вернувшийся из армии и теперь болтавшийся по селу без дела. Дядя Федя тоже в общем-то был без дела, но всё же числился в мастерских. Сказали, что пришли чинить крыльцо.

— С какого перепугу? — удивилась Катерина.

— Нас отец Василий послал, — доложил дядя Федя.

— А вы что, работаете у него?

— Подрядились, — неопределённо пояснил дядя Федя. — А ты, Катерина, лучше вопросов лишних не задавай, время нынче дорого, а нам ещё много чего успеть надо, — и он подмигнул молчаливому Пете. — Давай своё крыльцо. А-а, тут и делов-то: перильца обломались. Это мы мигом, а то отец Василий нарассказал, что у тебя тут чуть ли не разруха. Петь, дуй до храма, там под навесом горбыли лежат, тащи один, чать, хватит, а я тут фронт работ подготовлю. Так, Катерина, займись чем-нибудь житейским, не стой над душой, мы тут сами разберёмся.

Дядя Федя человек был правильный, малость шепутной, но работал крепко, правда, не переставая при этом чесать языком, получалось, что говорил сам с собою, потому как Петя молчал. За полтора часа они привели крыльцо в порядок и уехали на ступеньки. Катерина вынесла им оставшиеся с вечера пироги и полбутылки водки.

— Вот это, Катерина, ты правильно поступила. Уважила. Спасибочки.

Они выпили по стакану, закусили, покурили. До темноты время ещё было.

— Давай, Петь, ещё ступеньку, что ль, поменяем, вот эту, — он надавил на вторую ступеньку сапогом, и та послушно прогнулась. — Тоже крикнет скоро, — определил дядя Федя. — Давай, чего сидеть-то?

Сделав дело, они покурили ещё.

— Кать, — окликнул дядя Федя копошившуюся в сарае Катерину. — Иди, принимай работу.

— Спасибо, — сказала Катерина, — только водки у меня больше нету. Правда.

— Эх, Катя, можешь же ты обидеть рабочего человека. Ну ладно, должная будешь. Пойдём, Петь, к отцу Василию, доложимся.

В конце октября неожиданно распогодилось. Люба возвращалась от магазина, куда сегодня привозили хлеб, и сейчас после шумной толкучки, где все торопились, боясь, что на них хлеб может закончиться, чувствовала себя легко и свободно, будто вырвалась из лишней паутины, и так обошлось, что никому ничего не говорила, не отвечала, да на неё и не кричал никто, толкались немножко, а кричали больше между собой, и то потому, что устали от самих себя. Бог простит, они на самом деле хорошие все. Трудно просто. А теперь хорошо. И вот две буханки в руках. Можно неделю в магазин не ходить.

Люба подумала о матери, которая тоже посветлела в эти дни, и столько ласки и тепла исходило от неё, что это даже несколько настораживало, но так хорошо было жить сегодняшним днём! Всё остальное — завтра, послезавтра, а сегодня дал Господь радость, так и надо её принять.

— Люба! — услышала она. — Погодь ты!

Она узнала голос и обернулась.

— Витька! Здравствуй! Как давно тебя не видела. Надо же, как я рада! Как ты? Как там наши?

— Да вот разбежались все. Кто куда...

Он стоял, высокий, неожиданно красивый, чёрный вихор выбивался из-под кепки, а короткие щёгольские сапожки блестели, выдавая, что начищали их с утра с особым тщанием. При всём таком парадном виде выглядел Витька смущённым, что ещё больше красило его.

— Какой ты нарядный! — продолжала радоваться Люба. — Прямо жених! Чего ты, Вить, зарумянился, правда, что ли, жениться собрался?

— Собрался, — буркнул Витька и опустил глаза.

— Ну вот, — веселилась Люба. — Солнышко в глаза попало!

Витька поднял голову и посмотрел на Любу.

— Не, это ты такая яркая — глядеть больно.

— Ну, не гляди, что ж, переживу.

Витька помялся.

— Ты домой, что ли?

— Домой. А ты куда такой раскрасивый?

— Это я так... Давай сумку понесу, что ль...

— Вить, ты прямо кавалер. Случилось ли что?

Она отдала сумку, и они не спеша пошли в сторону дома.

— День сегодня какой хороший... — сказала Люба.

— Это да, — согласился Витька и вздохнул.

— Чего так тяжело вздыхаешь? — спросила Люба.

— Так ведь... — и Витька продолжал молча идти рядом.

— Что-то ты, Витенька, какой-то не такой. — Люба постаралась изобразить строгость, но смешинки так и лезли из неё. — Может, ты и не Витька, а только сапоги у Витьки стащил и притворяешься. Витька-то он знаешь какой? Витька — он ого-го! Он знаешь, какой шустрый, а ты тихонький. Не, ты не Витька! — она покачала головой.

— Не поверишь, — Витька наконец посмотрел на неё, — самому смешно, — и рассмеялся. И тут же рассмеялась и Люба.

Они остановились, а когда отсмеялись и снова двинулись по дороге, Люба спросила:

— Так что, это правда, Вить? — И не было в её голосе уже смеха, а осторожность и мягкость.

— В армию меня забирают, — так же спокойно, словно они уже сто лет идут по дороге вместе, ответил Витька и подивился, почему не мог сказать раньше, хотя именно за этим с самого утра, как получил повестку, разыскивал Любу. Нет, сначала начистил сапоги, а потом уже отправился на розыски.

— Надолго?

— Как положено, на два года.

— Долго, — подумала вслух Люба.

— А если в морфлот попаду, то три.

— Зачем тебе в морфлот? — Люба даже испугалась немного.

— Да я и сам не хочу. Хотя не знаю. Там море. Я моря ни разу не видел.

— Потом съездишь. В отпуск. Вернёшься из армии, заведёшь хозяйство, станешь вон фермером, сейчас всех фермеры агитируют... Вот соберёшь урожай, а зимой на море, куда-нибудь на Таити.

— Да ладно, какие фермеры. Бегут все. Наши уже, считай, все лыжи в город наострили. Тут совсем делать нечего.

— А вот ты через два года придёшь, и у нас всё наладится...

— Да ладно...

— А как же? Все поразбегутся, а ты приедешь — один-разъединственный фермер будешь на всю округу — вся земля твоя, паши — не хочу.

— А ты не разбежишься?

— Да куда мне... — Люба вспомнила о маме, и в светлый день вплетась грустинка.

— А ждать меня будешь? — вырвалось у Витьки.

— Чего? — растерялась Люба.

Витька заволновался.

— Ну, из армии... два года... а если морфлот, то три...

Люба посмотрела в сторону.

— Чать, и без меня есть кому ждать такого красавца.

Витька замотал головой, как молодой телок.

— Не-е, не-е, некому. Да и не надо. Я хочу... чтобы ты ждала...
— Хочет он... Захотелось — ждите меня. Вон Светка пусть ждёт.
— Какая Светка?
— Как какая? А на выпускном-то.
— Эж вспомнила! Когда это было-то?! Да и танцевал я с ней, потому как ты всё на учителя пялилась.
— Ни на кого я не пялилась.
— А чего же покраснела?
— И не покраснела.
— Покраснела-покраснела, я ж вижу.
— Отстань. Чего ты увязался? Отдай сумку.
— Не отдам.
— Чего тебе надо? Отдай.
— А ты ждать меня будешь?
— Нет, не буду.
— Так и не будешь?
— Не буду, отдай сумку.

Она ухватилась за ручку и с силой толкнула Витьку, тот не ожидал, остушился и шагнул на обочину, сапоги попали в грязь, Витька поскользнулся, взмахнул руками, удерживая равновесие, и выпустил сумку.

— Вот, значит, как...

Они стояли и оба смотрели на замаранные сапоги.

— Я молиться за тебя буду, — сказала Люба и пошла к дому.

А через несколько шагов услышала:

— И на том спасибо.

А ещё через несколько, уже звонче и веселее:

— Я обязательно вернусь. Обязательно. Только не забывай молиться.

31

Когда лёг снег, закрыв всю черноту горестей уходящего года, и так приятно стало выходить на двор в валенках, и оставлять следы, словно ты первый человек на земле, Люба заметила, что мама всё больше всматривается в иное и окружающий мир интересуется её всё меньше. Люба хорошо запомнила, как она обрадовалась первому снегу, и радостно воскликнула:

— Мама, мама, первый снег!

И услышала равнодушное:

— Да, хорошо, — словно Люба спросила: поставить ли чайник?

Признаков отстранения от жизни за Катериной замечалось всё больше, особенно поразило её безразличие на Рождество, некогда один из самых ожидаемых праздников.

Отец Василий собрал вокруг себя детвору, молодёжь, и всю неделю, пока были каникулы, вокруг церкви сооружали настоящий ледяной городок, с большой горкой и двумя крепостцами. Торжественное открытие городка отец Василий пообещал на Святках. Хотя, конечно, на горке катались и без всякого открытия: уж больно хороша получилась.

А возле самой церкви сделали большой вертеп. Такой большой, что ребёнок мог войти туда, не сгибаясь, а взрослые заглядывали и ахали от восхищения. Всё там было устроено по-настоящему: и ясельки, и сено, и даже вылепили из глины двух телят, которые стояли по бокам яселек. Деву Марию изобразили из некогда любимой куклы Вали Моховой, куклу соответствующим образом облачили, причём шитьё одежд превратилось в настоящее действие: шили у тёти Светы, и набился полный дом, каждая из девочек хотела что-то привнести своё в наряд Богородицы. Но отец Василий не оценил.

— Что это вы мне тут барби какую-то принесли, — сказал он. — Богородица, она смиренная, тихая, благодатная, — он взял одну из икон в свечной лавке. — Вот вам образец, дерзайте.

Пришлось перешивать. Теперь со всей строгостью и смирением: образец стоял перед глазами. И получилось замечательно, почти как на иконе.

Люлечку для Младенца смастерил дядя Фёдор. Люлечку прикрыли белой тканью, и Новорождённого видно не было. Потому что, как пояснил отец Василий, — тайна. Мария сидела, склонившись возле люлечки и вглядывалась в Младенца. Над вертепом прикрепили картонную звезду, внутрь которой поместили лампочку, и свет от звезды тонким лучиком проникал в вертеп, и каждого, кто заходил внутрь или заглядывал, касалась Тайна.

Отцу Василию удалось задействовать в подготовке к Рождеству чуть ли не полсела — скрывавшаяся на окраине церковь стала центром, вокруг которого собиралась жизнь. Здесь пропадало ощущение безнадеги и неуверенности. И это возрождающееся чувство жизни, как круги по воде, расходилось от церкви по селу, вовлекая всё больше людей в своё пространство.

И тем более было удивительно, что Катерина оставалась безучастной. Она что-то делала, иногда подсказывала, но словно это уже не касалось её. Вечером Люба рассказывала, что они ещё придумали, что сделали, стараясь говорить как можно ярче, задорнее, порой представляла происходящее днём в лицах, но в ответ слышала лишь слабое:

— Вот и молодцы, — и казалось, что мама совсем не слушает её.

А какая служба была на Рождество! Столько народа, пожалуй, и на Пасху не собиралось. А какие Святки! Тут уж точно всё село побывало возле церкви, и каждый, конечно, если уж в храм не заходил, то в вертеп заглядывал. Даже глава сельсовета посетил и весьма одобрил. Ему предложили скатиться с горки на специальных санках, но тот воздержался. Зато на Крещение сельсовет помог вырубить настоящую прорубь на реке, выделил крепкие доски, и дядя Федя с помощниками изготовил лесенку, которая спускалась в прорубь, надёжную, с перилами, и даже на небольшую загородку хватило, где можно было переодеться.

Люба не помнила такой радостной зимы, а Катерина ничего не замечала. И Любе становилось всё больнее видеть мать. Праздники ещё притупляли ощущение беды, но в один из февральских выюжных вечеров Люба не выдержала и бросилась к застывшей на стуле матери:

— Мама, мама, что с тобой? Скажи мне, чем помочь тебе? — она схватила её холодные руки и стала целовать их.

Слёзы отогрели мать, та обняла Любу.

— Не знаю, дочка. Вроде ничего не болит — день прошёл, а мне кажется, будто год. Может, потому что до этого наоборот было, жила, будто всё лет двадцать: год пролетит, а мне кажется — день. Может, я уже тут больше и не нужна: всё идёт своим чередом. И без меня управляются. Раньше, пока ферма не закрылась, я даже тяготилась работой: для меня церковь важнее была. А сейчас... я бы сейчас на ферму побежала бы... У нового батюшки новые помощники. Он уж и без меня обходится. Нет-нет, я без обиды, всему своё время, правильно это, но, получается, у меня и дел здесь не осталось... Стало быть, к Богу пора. Как старуха какая-то... По-христиански — радоваться бы: вроде бы заслужила, всю жизнь, почитай, при храме грехи замаливала. А вот страшно. Будто я чего-то не сделала ещё. И все мои дела, и то, что при храме всё время была, — всё это второстепенное, всё это должно быть после... После того, что так и не сделала, а это самое важное и есть. Вот сижу и вспоминаю: что? — она помолчала и неожиданно совсем по-домашнему произнесла: — Может, то, что замуж тебя не выдала?

— Так я и не собираюсь, — горячо заверила Люба.

— Куда ты денешься? — отмахнулась Катерина, и Люба за долгое время увидела некое подобие улыбки на мамином лице. — Ты добрая, всех любишь... Даже не знаю, в кого ты такая...

— Может, в папу?

— Нет, — Катерина покачала головой. — Он себя любил.

— А кто он? — осторожно подтолкнула Люба маму.

— Прохожий... Да я уж и забыла... Пыталась забыть... А вот ты напомнила, и заньбло что-то... Может, это самое важное-то и было?

— Ладно, мамочка, я так... Мне главное — ты. Бог с ним!

— А доверять-то всем нельзя... — Катерина опять думала о своём. —

С другой стороны: если не доверять, то как любить? Ты вот что: о замужестве и правда не думай. Тебе Господь пошлёт. Ты Его любишь, и Он Тебя любит — вот и пошлёт, чего сама и представить не можешь. У Него всё по-своему. Мы, люди, думаем, так-то и так-то надо, а Господь так всё повернёт, что только удивляешься, как промыслительно вышло. Но это после, а сначала, бывает, не понимаешь: зачем это мне? Думаешь, наказание от Бога, а оказывается, это Его любовь и забота. Так что ты терпи: пошлёт Тебе Господь. По твоим силам пошлёт. Это слабые ищут богатых или начальников, а ты сильная, тебе любовь силу даёт, так что не ищи... лишь бы любил...

— Да не ищу я, мама, — возмутилась Люба.

— Вот и слава Богу, и не ищи... Прилягу я чуток, что-то и правда уставать стала...

(Окончание следует)